

В номере:

Гении и личности

Ю. Алексеев. *Тарас Григорьевич Шевченко* 3

Поэмы

Т.Г. Шевченко. *Слепая* 17

Критика и рецензии

Георгий Каюров. *Не надо быть красивыми людьми* 29

Гость номера

Сергей Фофанов. *Рассказы* 34

Проза

Георгий Каюров. *Пока живые* 39

Легенды старой Ирландии

Николай Костыркин. *Пёс из Махи* 43

Поэзия

Ольга Бедная 66

Денис Башкиров 75

Надежда Дёмина 79

Мемуары и воспоминания

Нина Ганьшина. *Тополя корнями вверх* 83

Конкурс молодых авторов

Елена Замура. *Читающие Тютчева впервые...* 92

Smoke 93

Евгения Ергогло 95

Ольга Цуркан 97

Памяти зодчества

Наталья Синявская 104

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.
Выпущено было 10 номеров.

Редактор-издатель Надежда Тодорова в статье «От редакции» писала:

«Наше поколение должно быть свежо, бодро и здорово, потому что оно может надеяться и верить в лучшую жизнь и обновление в смысле честности, трезвости... На знамени поколения должно быть начертано: Оздоровление. К здоровой, разумной, трезвой и деятельной жизни и будет призывать наш журнал, не признавая партийности, которая ставит рамки, суживает жизнь. Журнал наш будет органом поколения. Он будет как зеркало отражать жизнь, думы и душу поколения».

(Из программного заявления «От редакции»)

Учредитель:

Козий Александра Петровна

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

Редколлегия:

Главный редактор:

Георгий КАЮРОВ

Редакционный совет:

З. Чиркова, В. Силкин, А. Торопцев, В. Сундеев, Н. Костыркин

Литературный редактор:

Вера Димитрова

Корректор:

Галина Поддубная

Художник:

Эдуард Майденберг

Фотограф:

Валерий Корчмарь

Вёрстка:

Людмила Ильина

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: nashepokolenie@pisem.net

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Ю. АЛЕКСЕЕВ



Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861)

Начинать разговор о Тарасе Григорьевиче Шевченко не простое дело. Сегодня, когда Украина стала независимым государством, а украинский язык за несколько веков своего существования – государственным языком, с творчеством Шевченко, казалось бы, все понятно. Шевченко – основоположник украинского языка и литературы! Однако есть одно, как мне кажется, очень важное НО, без которого нельзя рассматривать творчество Шевченко! Тарас Григорьевич жил в позапрошлом веке! Его творческий путь формировался совершенно в других условиях, когда никто и не помышлял, чтобы земли Малороссии стали отдельным государством. В те времена существовал печально известный «Валуевский циркуляр» (1863 г.), в котором утверждалось, **«что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может и что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши»**. И не случайно петербургская критика и даже Виссарион Григорьевич Белинский не приняли и осудили украинскую (малороссийскую), как национальную, литературу вообще и Шевченко – в особенности, усматривая в его поэзии узкий провинциализм. *«Нехай буду мужицький поет, — писал Шевченко по поводу отзывов критики, — аби тільки поет; то мені більше нічого і не треба»*.

Так что же это было за время, в которое рос художник и поэт Шевченко? Что

за личность такая появилась на малороссийском литературном небосводе.

Тарас Григорьевич Шевченко родился в начале века (1814 г.) – это годы, когда восходила на литературном небосводе звезда Пушкина. Это период, когда русский литературный язык набирал свою силу в развитии. Просвещенное общество подхватило новацию Карамзина и повсеместно обогащало русский язык кальками из других языков. Так стали употребляться в нашем языке, как в поэзии, так и в прозе, до сего дня немыслимые словосочетания – «трогательная сцена», «предмет чувств», «утонченный вкус», «океан неизвестности» и многие другие, которыми мы пользуемся и по нынешнее время и даже не догадываемся, что совсем пару столетий назад – это было революционно. Но чтобы это произошло, два гиганта слова – Шишков и Карамзин вели друг с другом непримиримую борьбу за свои идеи. И это не было еще началом развития русского языка.

Задолго до Карамзина и Шишкова схлестнулись два титана словесности – Ломоносов и Тредиаковский. Оба – академики Российской академии наук: первый боролся за свободу слова, а другой – за консерватизм и канонизм в литературе. Правыми оказались и Ломоносов, и Карамзин. Потому, что мы получили замечательные строчки вроде этих: «Начнете плакать – ваши слезы не тронут сердца моего»; «Хвала тебе, седой Кавказ! Онегин тронут в первый раз»; «Но получив посланье Тани, Онегин живо тронут был» («Евгений Онегин» А.С. Пушкин) и многие другие, которые стремительно наполнили и обогатили русскую словесность образами, красками, глубиной и многогранностью, сравните – «огонь жизни», «плод просвещения», «рыцарь чувств», «рыцарь печального образа», «рыцарь нашего времени» и еще тысячи словосочетаний, которые мы употребляем и сегодня, чтобы украсить свою речь.

Время для литературы было светлое и просветительское. Однако не надо забывать, что литература и даже простая грамотность были привилегией знати.

Открывающиеся приходские классы давали только азбучную грамоту бедноте, и основывалась эта методика на муштре церковных книг. Государство, решив позаботиться об обучении крестьянства, не спешило тратить на это средства и оставило на откуп церкви. Чем, собственно, церковь всегда пользовалась – слабостью государства!

В одну из таких приходских школ и был определен Тарас Шевченко – сын одного из крепостных помещика П.Энгельгардта. Спустя годы в своем письме к редактору книжки «Народное чтение» господину Оболонскому Тарас Григорьевич так описывает время, проведенное в приходской школе:

«Лишившись матери на осьмом году жизни, приютился я в школе у приходского дьячка, в виде школяра-попихача. Эти школяры в отношении к дьячкам то же самое, что мальчишки, отданные родителями или иною властью на выучку к ремесленникам. Права над ними мастера не имеют никаких определенных границ: они – полные рабы его. Все домашние работы и выполнение всевозможных прихотей самого хозяина и его домашних лежат на них безусловно. Предоставляю вашему воображению представить, чего мог требовать от меня дьячок, – заметьте, горький пьяница – и что я должен был исполнять с рабской покорностью, не имея ни единого существа в мире, которое заботилось бы или могло заботиться о моем положении. Как бы то ни было, только в течение двухлетней тяжкой жизни в так называемой школе прошел я грам_а_тку, часл_о_век и наконец псалтырь. Под конец моего школьного курса дьячок посылал меня читать вместо себя псалтырь по усопшим крепостным душам и благоволил платить мне за то десятую копейку в виде поощрения. Моя помощь доставляла суровому моему учителю возможность предаваться больше прежнего любимому своему занятию вместе с своим другом Ионою Лимарем, так что по возвращении от молитвословного подвига я почти всегда находил их обоих мертвецки пьяными. Дьячок мой обходился жестоко не со мною одним, но и с другими школярами, и

мы все глубоко его ненавидели. Бестолковая его придирчивость сделала нас в отношении к нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всяком удобном случае и делали ему всевозможные пакости. Этот первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кончил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные люди – мезью и бегством. Найдя его однажды бесчувственно пьяным, я употребил против него собственное его оружие – розги и, насколько хватило детских сил, отплатил ему за все его жестокости. Из всех пожитков пьяницы дьячка драгоценнейшею вещью казалась мне всегда какая-то книжечка с кунштинками, то есть гравированными картинками, вероятно, самой плохой работы. Я не счел грехом или не устоял против искушения – похитить эту драгоценность – и ночью бежал в местечко Лысянку».

Шевченко бежал, но все, что смог извлечь из своего решительного поступка, – это пойти в ученики к малярам, у которых выучился элементарному рисованию. Вот как описывает этот период сам Тарас Григорьевич:

«Потеряв всякую надежду сделаться когда-нибудь хоть посредственным маляром, с сокрушенным сердцем возвратился я в родное село. У меня была в виду скромная участь, которой мое воображение придавало, однако ж, какую-то простодушную прелесть: я хотел сделаться, как выражается Гомер, «пастырем стад непорочным», с тем, чтобы, ходя за громадскую ватагою, читать свою любимую краденую книжку с кунштинками. Но и это не удалось мне. Помещику, только что наследовавшему достояние отца своего, понадобился расторопный мальчик. И оборванный школяр-бродяга попал прямо в тиковую куртку, в такие же шаровары и наконец – в комнатные казачки».

Что могло ждать беглого крепостного, пусть даже и малолетнего? Шевченко

был розыскан, возвращен помещику и порот! За время учебы у дьячка и маляров умер его отец. Так, к двенадцати годам Тарас остался круглым сиротой, но не сломался. Эта его черта и станет помощницей всю жизнь, а пока Шевченко предстояло стать домашним казачком:

«Изобретение комнатных казачков принадлежит цивилизаторам заднепровской Украины, полякам; помещики иных национальностей перенимали и перенимают у них казачков как выдумку неоспоримо умную. В краю некогда казацком сделать казака ручным с самого детства – это то же самое, что в Лапландии покорить произволу человека быстроногого оленя... Польские помещики былого времени содержали казачков, кроме лакейства, еще в качестве музыкантов и танцоров. Казачки играли для панской потехи веселые двусмысленные песенки, сочиненные народной музой с горя под пьяную руку, и пустились перед панами, как говорят поляки, сюды, туды, навприсюды. Новейшие представители вельможной шляхты с чувством просвещенной гордости называют это покровительством украинской народности, которым-де всегда отличались их предки.

Мой помещик, – продолжал повествовать Тарас Григорьевич, – в качестве русского немца смотрел на казачка более практическим взглядом и, покровительствуя моей народности на свой манер, вменил мне в обязанность только молчание и неподвижность в уголку передней, пока не раздастся его голос, повелевающий подать стоящую тут же возле него трубку или налить у него перед носом стакан воды. По врожденной мне предрозности характера я нарушал барский наказ, напевая чуть слышным голосом гайдамацкие унылые песни и срисовывая украдкой картины суздальской школы, украшавшие панские покои. Рисовал я карандашом, который – признаюсь в этом без всякой совести – украл у конторщика».

Помещик П.В. Энгельгардт обратил внимание на способности домового казачка и стал поручать ему рисовать портреты своих знакомых помещиков и заезжих гостей, чем вызывал у тех восторг. И

когда шестнадцатилетний Тарас решил просить Энгельгардта позволить ему учиться рисованию, тот с легкостью согласился и определил своего холопа в мастерскую к посредственному художнику Ширяеву. *«Так как надежды моего помещика, – пишет Шевченко, – на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он, вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву, в С.-Петербурге».*

Знакомясь с очень сложной судьбой Тараса Григорьевича Шевченко, ужаснешься огромной несправедливости, которая обрушилась на голову малолетнего мальчика, но и восторгаешься стойкости этого, казалось бы, незащитного существа. Что ждало крепостного Шевченко? Судьба миллионов – изнурительный, рабский труд, пьянство по кабакам, букет болезней и скорая кончина. Но личность Шевченко осталась в истории малороссийских народов, в мировой литературе потому, что ему удалось переломить предначертанную социальным происхождением судьбу, не обозлиться, а воспитать в себе терпеливого труженика, пытливого художника и целеустремленную личность.

Ранняя смерть матери – трагическая страница в жизни малолетнего Шевченко, но много лет спустя, описывая свою жизнь, Тарас Григорьевич с горечью вспоминал свою мать, которой, как он считал, до него не было дела. Родители могли не заметить или вовсе забыть о нем и не позвать ужинать с семьей. Вот как сам Тарас Григорьевич описывает:

«На дворе уже смеркалось, когда я подошел к нашему перелазу; смотрю через перелаз во двор, а там, около дома, на темном, зеленом, бархатном подворье, все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и няня Екатерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукой, и как будто смотрит на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелазы, то она как вскрикнет: "Пришел! Пришел!" Подбежала ко мне, схватила меня за руки, понесла через двор и посадила в

кружок вечером, сказав: „Сидай вечером, прибуду!“...»

Много лет спустя с искренним юмором вспоминал о своем детстве Шевченко, рассказывая, как соседский мальчишка любил есть собственные какашки. Что за сдвиг нашел и на меня – попробовал, но не понравилось. Чтобы не показать виду, решил есть глину. Она тоже желтая, но вкуснее, и много ее у нас было в долине над ручьём. Потом долго не мог избавиться от привычки лакомиться землей. Возвращался к ужину домой мурзатый, с режью в желудке от съеденной глины и, не смотря на ту режь, сияющий от счастья.

Ел в детстве землю великий поэт украинской земли. Разве не символично! И нес крест своей семьи. Так считал Тарас Шевченко всю свою жизнь, и вот за что.

В родительском подворье только поженившимся будущим родителям Шевченко было тесновато, ведь у старого Ивана Шевченко еще было четверо детей. Поэтому Яким Бойко, дедушка Тараса Григорьевича по матери, добился у управителя Ольшанским кустом сёл пана Василя Энгельгардта, отставного ротмистра Дмитренко, чтобы молодым отдали дом и землю его соседа Колесника. Вот та чужая земля и чужой дом и стали причиной проклятия молодой семьи Шевченко. Потому что несправедливо они обошлись с Колесником. Когда он ездил чумаковать, помощник управителя по Моринцам погнал его жену, которая была на последнем месяце беременности, на жатву. Там она и умерла во время родов вместе с ребенком. Вернулся Колесник в пустой дом. Рассказали ему о злодействе помощника управителя. Напился он с горя и до смерти избил того подлеца. За это и прозвали его люди Копием. Но разве же мог допустить управитель ротмистр Дмитренко, чтобы его помощника избил собственный крепостной? Отдал он Колесника в солдаты.

Вскоре началась война с Наполеоном, и думали все, что сгинет тот Копий где-то в чужой стороне. Думал так и дед Яким, поселяя зятя с дочерью в усадьбе

Колесника. Жили они здесь неплохо. Держали буренку, свиней и овец, имели волов с телегой, а летом Григорий чумаковал. Зимой же зарабатывал деньги плотничаньем и стельмашеством (изготовление коромысел, ободов и другого деревянного инвентаря) – он чувствовал дерево, любил работать с ним, и его поделки славились на всю округу. Правда, за ту Колесникову усадьбу пришлось в июне 1813-го Катерине отрабатывать у пана, обслуживая Великого Князя Константина Павловича, приехавшего к Энгельгардтам поблагодарить за мужество сына Василя и гостившего у них почти всё перемирие. Константин был поэт и гуляка, но обслуживать его было гораздо легче, чем отрабатывать панщину на воле. Так что все были довольны. Но недолго длилось то блаженство. Тарас родился 25.02.1814, а уже через полтора года, разбив Наполеона, армия вернулась в Россию. Вернулся и Колесник. Не захотел он больше тянуть солдатскую ляжку. Пришел домой, а там живёт семейство его соседа Бойко. Проклял человек захватчиков и ушёл в гайдамаки. В те времена вокруг Моринцов простирались огромные темные леса с непролазными чащами. Туда и направился горемыка. Процитирую Петра Шевченко в записи Конисского:

«Копий насобирал себе ватагу таких же голых молодцев, как сам, окукобился с ними где-то в лесу. Из того гнезда и начал Копий набегать на людей и грабить разбойничьим чином, по-гайдамацки с ножом за голенищем. Несколько раз среди ночи налетал он и на Григория Шевченко, за то, что взял его усадьбу. Придет, было, среди ночи, стучится в окно. Шевченко откроет форточку и спрашивает: “Кто и чего нужно?” – а тот отвечает: “Копий, вот кто! С товарищами пришел к тебе в гости. Забрал еси мою почву и дом, так теперь корми нас. Не дашь по-чеськи, так дашь по-песьки!”»

Вот таким чином Копий чисто объел Шевченко; за недолгое время забрал у него двенадцать овец и корову, да еще и грозит:

«Корову съедим, дом сожжем и са-

мого тебя замучим. Не хочешь сего, так прочь из моего дома забирайся!».

Кинулся Григорий Шевченко в ноги тестю и отцу, чтобы избавили они его от этого гайдамаки. Посоветовались родители, да и купили ему за 200 рублей серебром усадьбу в Кирилловке, чтобы не извёл его тот гайдамака Копий... Не бедными были родители Григория и его жены, раз могли, не занимая ни у кого, выложить стоимость 133 коров!

Новая усадьба тоже была не из бедных. Вот как описывает её сам Тарас Шевченко:

«Круг дома на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг яблони цветник старшей сестры, моей терпеливой, моей нежной няни! А у ворот стоит старая развесистая верба с засохлой верхушкой, а за вербой стоит рига, окруженная копнами ржи, пшеницы и разного всякого хлеба; а за ригой, по косоугору, пойдёт уже сад. Но какой сад! Густой, темный, тихий... А за садом левада, а за левадой в той долине тихий едва журчит ручей, обставленный вербами и калиной и окутанный широколиственными, темными, зелеными лопухами ...» (повесть «Княгиня»).

После смерти матери и трех месяцев не прошло, как привез тесть Григорию из Моринцев младшую сестру Екатерины – Оксану, которая четыре года назад овдовела и осталась с тремя малыми детьми на руках. Покорился Григорий тестю, женился на сестре своей помершей супруги, хоть и знал о ее ведьмацком характере. Так вот и не стало ему счастья из-за того нарушения дедовских обычаев. Грызла его поедом новая жена. Грызлись между собой девятеро сводных детей, живущих в одной хате. Уезжал от тех ссор Григорий чумаковать, захватывал с собой старшего сына Никиту.

Однажды, когда отец с Никитой чумаковали, на постой в дом Шевченко прислали москаля. Не будем говорить, сколько он там жил и как его обслуживала соскучившаяся по мужу Оксана, но когда наступило время выступить в поход, исчезли у того солдата три злотых. Ну, на

кого бы могла подумать мачеха, на своих родных детей, что ли? Самым старшим из тех чужих детей остался Тарас. Вот и указала на него, как на вора. Сбежал перепуганный Тарас в свой схорон в саду соседа. Носила ему в то укрытие еду сестра Яринка. Сводные сестры выследили ее и привели к убежищу мачеху с дядькой Павлом. Три дня истязал дядя Тараса. Сознался он в краже, а вот места не мог назвать. Ведь украл те деньги не он, а его сводный брат Степан. Может, те солдатские три злотых и были началом того капитала, который потом сделал из Степана Колесниковича Терещенко сахарозаводчика – основателя династии миллионеров Терещенко...

Тарас навсегда возненавидел и тех сводных сестер-ищеек, и того воришку Степана, и изверга-дядьку, и ведьму-мачеху. После этого дед Иван приказал Григорию брать в чумаки не Николая, а Тараса.

Николай же взялся учить плотничанью и стельмашеству... Стал ездить Тарас с отцом в Елисаветград. Осуществились его мечты поглядеть мир. Но не таким оказался тот мир, о котором мечтал он малышом. Едешь день, два, три, а вокруг все та же степь, все такие же жидкие леса да редкие военные поселения...

Вскоре чумакования закончились. Поехал Григорий осенью 1824 года в Киев. Возвращаясь домой, промок и заболел. Ни лекарств дома не было, ни покоя. Проболел он осень и зиму, а в марте отдал Богу душу. Остались дети со злой мачехой. Весной, на время пахоты, взял Тараса к себе в помощники злой дядька Павел. Взял, так как батраку нужно платить, а племянник обязан работать и за ломоть хлеба. По окончании посевной дядька выпер племянника обратно к мачехе. Та в это время загуляла с молодым красавцем-дьяком Богорским, который, выжив из школы Совгира, стал учить детей вместо него. Да какая там учеба – дьяк дневал и ночевал у Оксаны, пропивая добро её мужа. Чтобы Тарас не мешал им, Богорский пригласил его «поселиться у него яко школьник и рабочий». А когда

парню исполнилось 11 и он уже понимал, что стоит делать, а чего нет, дьяк предложил ему выполнять обязанности «консула», а в отсутствие дьяка, – читать над покойниками Псалтырь за 20% от принесенного людьми. Тарас согласился. Это позволяло избавиться, наконец, от грызни ведьмы-мачехи и давало хоть какой-то заработок, еще и возможность заслужить уважение школьников. Ведь основной обязанностью «консула» было следить за успехами в учебе школяриков и давать им розог за невыученное задание. Только вот с прибылью от того «консульства» было не очень. После того как из школы ушел суровый, но справедливый и грамотный Совгир, бросили школу и большинство учеников, ибо Богорский почти все свое время проводил не в школе, а у Оксаны. Тарас же, хоть и наизусть усвоил Псалтырь и мог сам учить ему других, а вот грамоте у Совгира научиться не успел. Те дни у Богорского Тарас вспоминал, как самые голодные и самые позорные в его жизни. Мало того, он стал величайшим взяточником, как вспоминает Шевченко в пересказе Конисского:

«Кто приносил ему большее угощение, тому он меньше розог давал, а кто приносил мало или совсем не приносил взятки, того бил больно... Но школьников в школе было немного; из-за этого самими взятками нельзя было пропитаться и "консул" с голода должен был пускаться на другой промысел: он крал гусей, поросят и по ночам варил себе суп там, на Пединовской могиле. Кирилловцы, заметив, что в пещере на могиле временами ночью горит огонь, решили, что в пещере поселилась нечистая сила, и просили попа выгнать чертяку. Поп, взяв людей, пошел к пещере, вычитал молитвы, окропил святой водой вход в пещеру и сказал, чтобы кто-нибудь полез туда и посмотрел, что там есть. Никто не отваживался. Тогда люди смекнули, что нужно заплатить тому, кто полезет в пещеру. Первым желающим выступил Тарас, который хорошо ведал, что в пещере той чертяки нет, а есть только кости от украденных им птиц и поросят. Но он делал вид, что боится лезть, и просил, чтобы к его ноге на всякий случай

привязали бечевку: когда, мол, нечистая сила совершит над ним в пещере что-то страшное, так будь каким чином вытянуть его. Так вот он на привязи полез в пещеру; там поубирал следы своего пребывания и вылез обратно в хорошем настроении, поведав, что в пещере ни одного чертяки нет. Вот и заработал деньги...»

Если бы та жизнь у Богорского длилась дольше, неизвестно, в какого ворюгу или взяточника превратился бы наш Тарас. Но деду Ивану осточертело смотреть, как его невестка пропивает с дьяком сыновье добро, и он приказал Якиме Бойко отправить свою дочь-шлюху назад в Моринцы. Забрала она свою детвору и остаток добра, погрузила на телегу и поехала к себе в Моринцы, оставив в хате голые стены. Хотя Никите еще не исполнилось и 15, дед женил его на соседской девчужке, и хозяином в доме стал Никита. Дьяк вернулся в школу. Но не для того, чтобы учить, а чтобы пьянствовать. Все, что мог заработать Тарас на зауспокойных молитвах, теперь отбирал дьяк. Розги ученикам стал давать тоже он. Что же Тарасу было подышать от голода? Ведь во время тех попоек после служб дьяк бережно тыкал в руку парня стакан, не давая закуски. Чтобы совсем не погибнуть, после очередной попойки, когда водка бросила дьяка на пол, Тарас хорошенько его высек и, собрав вещи, пошел к дьяку-маляру в Лисянку учиться занятию живописью. Но дьяк принудил его таскать на гору тяжелые ведра с водой, растирать краску-медянку на железном листе, а согласия учить занятию живописью так и не дал. Пришлось Тарасу идти в село Тарасовка, где жил знаменитый дьяк-богомаз. Тот дьяк считал себя хиромантом. Посмотрев на левую ладонь Тараса, он заявил, что у того нет способностей ни к чему, и отказался брать его в обучение. Тарас вынужден был ни с чем вернуться в родной дом, где уже всем заправлял Никита. Брат попробовал научить его плотничанью и стельмашеству. Не получилось. Отправил выпасать общественное стадо. И здесь, несмотря на то,

что вместе с ним пасла стадо наилучшая подруга-ровесница его любимой сестры Яринки – Оксанка Коваленко, у Тараса ничего не вышло. Уволила его община из пастухов. Нанялся в батраки к зажиточному дьяку Кошице. Зажиточному, но скупердяю. Как-то заставил он Тараса сопровождать сына Яся в Шполу, продавать ранние сливы. Сразу за селом, на мосту через пруд, телега поломалась, и сливы полетели в грязь. Весь день ребята мыли и вытирали те сливы. Ясно, что ничего за них не выручили. Зато все село смеялось над той коммерцией иерея Кошицы, но «на орехи» досталось только Тарасу. После этого не захотел он оставаться у Кошицы. Поблагодарил за хлеб-соль и отправился в село Хлиповка, славившееся своими малярами. Увы, и там отказались взять его в обучение. Дед Иван, видя, что парень пропадает без работы, пошёл к Дмитренко и долго о чём-то с ним говорил с глазу на глаз. После этого Тарас стал порученцем кирилловского помощника управляющего. Им тогда был обедневший польский шляхтич Ян Станиславович Дымовский. Он окончил прославившийся масонством Дерптский университет, проникся его гуманными идеями, пытался, чем мог, помогать людям. Ему очень понравился сообразительный и любознательный мальчик. Он научил его грамоте, которой так и не успели научить в школе. Но сам Дымовский был поляк и все книжки у него были на польском языке. Так вот, после церковно-славянского Тарас усвоил не украинский, даже не русский, а польский язык. Именно на нём он научился писать. Ясно, что и говорить по-польски он тоже научился у Дымовского. Ян Станиславович, видя, что Тарасу становится уже тесно в Кирилловке, сочувствуя его желанию научиться рисовать, посоветовал парню ехать в Вильно. Он порекомендовал Дмитренко включить Тараса в состав гвардейского экипажа в роли комнатного художника. Для этого он даже его к знаменитому ольшанскому художнику Степану Превлоцкому написал, и тот учил Тараса азам живописного искусства. И вот осенью в 1829 году

в Вильно из Ольшан выехал обоз из дюжины телег, с которым ехал и комнатный живописец – 15-летний Тарас Шевченко. Казачком ехал его друг, 11-летний Ваня Нечипоренко.

Первой виленской красавице, баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт и обязан Тарас тем светлым, что вынес он из отрочества. Баронесса происходила из остзейской ветви рода Энгельгардтов, воспитывалась в семье с масонскими взглядами на равенство людей и, в отличие от мужа, видела в Тарасе не быдло, а человека. Это она научила его читать и писать по-русски. Благодаря ей, он с помощью француженки, гувернантки детей, даже освоил французский язык. С отъездом в Вильно закончилось Тарасово детство, в котором остались и покойные отец с матерью, и берегиня-сестра Екатерина, и любимая сестра Яринка, и такой не по-детски хозяйственный брат Никита, и его предлюбовь – соседская девочка Оксанка, и мудрый дед Иван, и такие ненавистные мачеха, дьяк Богорский, дядька Павел и все другие недруги... Детство закончилось. Пришла юность...

Испокон веку много было ходоков за счастьем. Чаще выслуживались забритые в солдаты, и не мудрено – за двадцать пять лет службы можно и выслужиться. Из тысяч крепостных десятки достигали этого самого счастья, и только единицы вошли в историю человечества. Самый известный из крепостных ходоков – это Михаил Васильевич Ломоносов, чей гений нашел себя во многих науках, в том числе и в литературе.

Не провожу параллели судеб Тараса Шевченко и Михаила Ломоносова – только и общего, что и тот и другой пробивали себе дорогу с самых низов, из крепостных. Но величины разные – и не потому, что один из российской глубинки, а другой из отсталой Малороссии. Из разных факторов складывались судьбы этих людей. Очень важным, как мне кажется, вот какое обстоятельство в судьбоносном пути Тараса Григорьевича Шевченко. Жизненное стечение обстоятельств предложило малолетнему Шевченко две стези

– поэта и художника. Он освоил обе и мастерски выполнял их до конца дней, оставаясь им верным! Более того, в развитии малороссийского литературного языка, как показала современная история, оказался провидцем! Но до этого еще далеко, а пока Шевченко занимался у Ширяева и заводил знакомства. Как следует из дальнейших событий, только талантливость Шевченко привлекла к себе внимание и позволила обзавестись друзьями:

«В один из сеансов у господина Ширяева, – пишет в своем письме Тарас Григорьевич, – познакомился я с художником Иваном Максимовичем Сошенко, с которым и до сих пор нахожусь в самых искренних, братских отношениях. По совету Сошенко я начал пробовать акварелью портреты с натуры. Для многочисленных грязных проб терпеливо служил мне моделью другой мой земляк и друг казак Иван Ничипоренко, дворовый человек нашего помещика. Однажды помещик увидел у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что он начал использовать меня для снятия портретов со своих любовниц, за которые иногда награждал меня целым рублем серебра. В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу с просьбой освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский, с помощью графа М. Ю. Вельгорского, устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и эту цену куплена была моя свобода, в 1838 году апреля 22. С того же дня начал я посещать классы Академии художеств и вскоре сделался одним из любимых учеников-товарищей Брюллова. В 1844 году удостоился я звания свободного художника».

Что значат сегодня эти строчки письма Шевченко на имя Жуковского? Да ничего! Молодец, скажут многие. Вон, девочка из российской глубинки написала

Путину письмо, и он ей собаку подарил. Но это сегодня. А в то время, в царской России, чтобы холоп писал челобитную придворному чиновнику, минуя своего помещика, было возмутительно! Чиновник зачастую переправлял челобитную помещику. Помещик порол наглеца, а то мог и на каторгу сослать. Опять же, только талант Шевченко смог стать судьбоносным для его хозяина. Вот как заканчивает свое письмо Тарас Григорьевич:

«О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоянных дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне. Из первых, слабых моих опытов, написанных в Летнем саду, напечатана только одна баллада «Причинна» («Порченая» (укр.) Как и когда писались последовавшие за нею стихотворения, об этом теперь я не чувствую охоты распространяться. Краткая история моей жизни, набросанная мною в этом нестройном рассказе в угождение вам, сказать правду, обошлась мне дороже, чем я думал. Сколько лет потерянных! сколько цветов увядших! И что же я купил у судьбы своими усилиями – не погибнуть? Едва ли не одно страшное уразумение своего прошедшего. Оно ужасно, оно тем более для меня ужасно, что мои родные братья и сестра, о которых мне тяжело было вспоминать в своем рассказе, до сих пор – крепостные. Да, милостивый государь, они крепостные до сих пор!»

Дружба с украинским художником И. Сошенко, а также покровительство со стороны К. Брюллова, В. Григоровича, В. Жуковского, помогают талантливому, уже свободному Тарасу Шевченко многому учиться, познавать мир и творить как свободный художник и в рисунке, и в поэзии. Брюллов восхищался своим учеником и неоднократно делился с Жуковским: «Шевченко учится жадно, много читает,

изучает искусство, овладел мастерством рисунка и живописи. Хорошо знает творчество русских писателей, но особый интерес у него обнаружился к творчеству украинских писателей».

Невзирая на критику, при поддержке своих товарищей, а в особенности Василия Жуковского, Шевченко издает в 1840 г. в Петербурге первый сборник стихов на украинском языке – «Кобзарь», начавший новую эпоху в истории украинской литературы.

Ранние произведения Шевченко написаны в жанрах баллады, поэмы, «думки». Значительные произведения этого периода – поэмы «Катерина» (1838), «Гайдамаки» (1841). На русском языке написаны поэмы «Слепая» (1842), «Бесталаный» (1844), драма «Назар Стодоля» (1843).

В 1844 г., окончив Академию художеств и получив звание «неклассного (свободного) художника», Шевченко едет на Украину, решив поселиться в Киеве. К этому времени определяются его революционно-демократические взгляды (знакомится с некоторыми из петрашевцев), рождаются замыслы больших произведений обличительного характера: поэма (комедия) «Сон» (1844); «Кавказ» (1845); «Еретик».

Во время пребывания Шевченко в Киеве в 1846 г. он сблизается с Н. И. Костомаровым. В том же году Шевченко становится поклонником формирувавшегося тогда в Киеве Кирилло-Мефодиевского общества, состоявшего из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка, в числе 10 человек, были арестованы по доносу провокатора, обвинены в организации политического общества и понесли разные кары, причём больше всего досталось Шевченко. Пройдя каземат Третьего отделения, за революционные стихи в сборнике «Три года», найденные при аресте, Тарас был сослан в солдаты в Орскую крепость с приговором Николая I: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».

Орская крепость, куда сначала попал Шевченко, представляла грустное и пустынное захолустье. *«Редко, — писал Шевченко, — можно встретить подобную бесхарактерную местность. Плоско и плоско. Местоположение грустное, однообразное, тощие речки Урал и Орь, обнажённые серые горы и бесконечная киргизская степь...»* «Все прежние мои страдания, — говорит Шевченко в другом письме 1847 г., — в сравнении с настоящими были детские слёзы. Горько, невыносимо горько». Для Шевченко был очень тягостен запрет писать и рисовать; особенно удручал его суровый запрет рисовать. Не зная лично Гоголя, Шевченко решился написать ему «по праву малороссийского виршеплёта», в надежде на украинские симпатии Гоголя. *«Я теперь, как падающий в бездну, готов за всё ухватиться — ужасна безнадёжность! так ужасна, что одна только христианская философия может бороться с ней».* Шевченко послал Жуковскому трогательное письмо с просьбой об исходатайствовании ему только одной милости — права рисовать. В этом смысле за Шевченко хлопотали граф Гудович и граф А. Толстой; но помочь Шевченко оказалось невозможным. Обращался Шевченко с просьбой и к начальнику III отделения генералу Дубельту, писал, что кисть его никогда не грешила и не будет грешить в смысле политическом, но ничего не помогало; запрещение рисовать не было снято до самого его освобождения. Некоторое утешение дало ему участие в экспедиции по изучению Аральского моря в 1848 и 1849 гг.; благодаря гуманному отношению к ссыльному генерала Обручева и в особенности лейтенанта Бутакова Шевченко позволено было срисовывать виды Аральского побережья и местные народные типы. Но эта снисходительность вскоре стала известна в Петербурге; Обручев и Бутаков получили выговор, и Шевченко сослан в новую пустынную трущобу, Новопетровское, с повторением воспрещения рисовать. В ссылке Шевченко близко сошёлся с некоторыми образованными ссыльными поляками — Сераковским, Залеским,

Желиховским (Антоний Сова), что содействовало укреплению в нём идеи «слияния единоплеменных братьев». В Новопетровском Шевченко пробыл с 17 октября 1850 г. по 2 августа 1857 г., то есть до освобождения. Первые три года пребывания в «смердячей казарме» были очень тягостны; затем пошли разные облегчения, благодаря главным образом доброте коменданта Ускова и его жены, которые очень полюбили Шевченко за его мягкий характер и привязанность к их детям. Не имея возможности рисовать, Шевченко занимался лепкой, пробовал заниматься фотографией, которая, однако, стоила в то время очень дорого. В Новопетровском Шевченко написал несколько повестей на русском языке — «Княгиня», «Художник», «Близнецы», заключающих в себе много автобиографических подробностей (изд. впоследствии «Киевской Стариной»).

Петербургский период

После смерти Николая I Шевченко был освобожден по амнистии, но не сразу, а лишь благодаря настойчивым за него ходатайствам графа Ф. П. Толстого и его супруги графини А. И. Толстой. По дороге в Петербург вынужден был задержаться в Нижнем Новгороде, так как ему был запрещен въезд в обе столицы. Здесь были написаны поэма «Неофиты» (1857), триптих «Доля», «Муза», «Слава».

Друзья Шевченко добились для него разрешения жить в Петербурге, и по приезде туда он оказался в центре внимания. Сблизился с кругом «Современника», «Искры», со многими русскими и польскими революционными демократами (Чернышевским, Курочкиным и др.). В 1860 г. Совет Академии художеств присвоил ему звание академика по классу гравюры.

С продолжительными остановками в Астрахани и Нижнем Новгороде Шевченко вернулся по Волге в Петербург и здесь на свободе предавался поэзии и искусству. Тяжёлые годы ссылки в связи с укоренившимся в Новопетровском алкоголизмом привели к быстрому ослаблению здоровья

и таланта. Попытки устроить ему семейный очаг (актриса Пиунова, крестьянки Харита и Лукерья) не имели успеха. Проживая в Петербурге (с 27 марта 1858 г. до июня 1859 г.), Шевченко был дружески принят в семье вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого.

Жизнь Шевченко этого времени хорошо известна по его «Дневнику», подробно переданному его биографами нового времени (преимущественно Конисским). В 1859 г. Шевченко побывал на родине и у него возникла мысль купить себе усадьбу над Днепром. Было выбрано красивое место под Каневом. Шевченко усиленно хлопотал о приобретении, но поселиться здесь ему не пришлось: он был тут похоронен, и место это стало объектом паломничества для всех почитателей его памяти. Отвлекаемый многочисленными литературными и художественными знакомствами, Шевченко в последние годы мало писал и мало рисовал. Почти всё своё время, свободное от званых обедов и вечеров, Шевченко отдавал гравированию, которым тогда сильно увлекался. Незадолго до кончины Шевченко взялся за составление школьных учебников для народа на украинском языке. Ему катастрофически не хватало средств. В один из тяжелых финансовых периодов Шевченко написал письмо князю Долгорукову. Шевченко всегда жил бедно, влача нищенское, но свободное, существование. На мой взгляд, письмо любопытно. Текст письма очень хорошо характеризует Шевченко как личность, которой судьбою дарована свобода, но за плечами многие поколения холопского наследия. Привожу его полный текст.

ДО НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ

В. А. ДОЛГОРУКОВА

27 жовтня 1858. С.-Петербург

*Милостивый государь,
князь Василий Андреевич!*

Вашему сиятельству известно, что в 1847 году я был присужден к продолжительному наказанию за неосторожные стихи, написанные мною в минуты душев-

ного огорчения такими явлениями, о которых я не имел права судить публично, по существующим постановлениям, и не имел возможности судить основательно, по удалению моему от центра правительствующей власти. Вполне сознаю свои заблуждения и желал бы, чтобы преступные стихи мои покрылись вечным забвением. Десять лет прошло с того времени. В такой продолжительный период и дети становятся людьми, мыслящими основательно. Поэтому надобно предположить, что и в моей бедной голове больше установилось порядка, если не прибавилось ума. На основании этого естественного предположения покорно прошу ваше сиятельство как представителя верховной власти в известной сфере дел смотреть на меня как на человека нового и не смешивать меня с тем Шевченком, который имел несчастье навлечь на себя своими рукописями праведный гнев в Бозе почившего государя императора. Возвращенный в столицу великодушием августейшего его сына, я увидел во многом перемены необыкновенные, истинно благодетельные для отечества и, между прочим (что лично для меня особенно важно), нашел людей, которые подверглись гневу правительства в одно время со мною, действующими ныне на литературном поприще для общей пользы. Таковы Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш, которым в 1847 году было запрещено печатать свои сочинения. Мало того: даже сочинения эмигранта Мицкевича, по высочайшей благодетельной воле, позволено печатать в пределах империи. Согласитесь, ваше сиятельство, что эти отрадные явления должны внушить и мне надежду на милость нашего великого монарха. Я потерпел наказание собственно за мои рукописи, которых никогда не пожелаю видеть в печати. Что же касается до печатных моих сочинений, то они и во время моей солдатской службы продолжали ходить по рукам и продаваться тайком букинистами, а запрещение наложено было на них, так сказать, зауряд, для усиления моего наказания. Возвратясь теперь в Академию художеств, я подвергаюсь естественному следствию десятилетнего моего отсутствия — бедности, из

которой не могут извлечь меня отсталые труды мои по части живописи, — тем более, что мне уже 48 лет и что мое зрение с каждым месяцем ослабевает. Если вашему сиятельству угодно будет обратить благосклонное внимание на все мною изложенное, то вы согласитесь, что, прося вас снять с моих книг запрещение, я прошу только дозволить мне пользоваться литературными правами предшествовавшего царствования и постановлениями тогдашней цензуры, которая, как известно, была гораздо строже нынешней, — я прошу дозволить мне на старости иметь кусок насущного хлеба от моих молодых трудов, признанных цензурой безвредными даже и до благодетельного воцарения нашего великого монарха. Осмеливаюсь прибавить, что просьба моя кажется мне уважительною по одному тому уже, что ее исполнение будет соответствовать характеру всех милостей царских, которые изливаются на его подданных от полноты его благодушия, в смысле божественных слов: прошу и не помяну, и что в моем положении не будет противоречия с понятием о великодушии монаршем.

С глубоким почтением имею честь быть вашего сиятельства покорнейший слуга Т. Шевченко

27-го октября 1858 года

Его сиятельству князю В. А. Долгорукову.
Жительство мое — в Академии художеств.

В предыдущем номере нашего журнала мы привели письмо В. Жуковско-го, написанное в адрес отца Александра Пушкина. В том письме Жуковский подробно, до минуты, до мгновения, описал последние дни великого поэта. Заканчивая повествование о Тарасе Григорьевиче Шевченко, я хочу привести другое письмо — это письмо Николая Лескова, в котором великий русский писатель описал последнюю свою встречу с малороссийским Кобзарем и был одним из немногих, протистившихся с ним у могилы. Не ставлю задачу проводить параллели между этими двумя письмами, но вижу в этих письмах много интересного для исследователей.

Н. С. Лесков.
Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко

В мяч не любил он играть никогда:

Сам он был мячик – судьба им играла.

А. Плещеев.

Итак, осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича Шевченко не стало. Сегодня гроб его опустили в сырую могилу на Смоленском кладбище, напутствуя его прощальным словом и братской слезою. Не стану говорить, как велика эта потеря для малороссийской литературы в эпоху ее возникновения, в день рождения «Основы», которой покойный поэт сочувствовал всей душою. Значение Шевченко известно всякому, кто любил родное славянское слово и был доступен чему-нибудь высокому, изящному, – но не могу отказать себе в удовольствии поделиться с читателями «Русской речи» теми впечатлениями, которые оставили во мне последняя моя встреча с покойным поэтом и последняя моя разлука с ним у его могилы.

Из петербургских газет, я думаю, всем уже известно, что Т. Г. Шевченко прихварывал еще с прошлой осени, а в конце января этого года он уже почти не оставлял своей квартиры в доме Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему после возвращения его в Петербург, состояла из одной очень узкой комнаты, с одним окном, перед которым Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и эстампами мольберта и небольшого диванчика, обитого простою пестрой клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола: здесь была спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта. Меблировка этой

комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.

Около года я не был в Петербурге и, возвратясь в конце января в северную Пальмиру, тотчас отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно ему прислуживал. «Дома Тарас Григорьевич?» – спросил я его. «Нетути, – отвечал служака, – он нонеча рано еще уходил из дома». Я, однако, подошел ближе к двери поэта с намерением положить в створной паз мою карточку, как я прежде часто делывал, когда не заставал его дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь обеспокоить поэта, и стал надевать мои калоши. «Кто там?» – раздалось в это время сверху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию «А... ходить же, голубчику, сюда», – отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был одет в коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый стакан чаю. «Извинить, будьте ласковы, шо так принимаю. Не могу сойти вниз, – пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте». Я сел около стола, не сказав ни слова. Шевченко мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он прервал это молчание. «Вот пропадаю, – сказал он. – Бачите, яка ледащица з мене зробылась». Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: «пропаду», – заключил он и бросил на стол ложку, с ко-

торой он только что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да, впрочем, и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. «Ну, годи обо мне, – сказал поэт, – расскажите лучше мне, что доброго на Украине?» Я передал ему несколько поклонов от его знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня и очень грустил о больном художнике Ив. Вас. Гудовском, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве. Говоря о Малороссии и о своих украинских знакомых, поэт, видимо, оживал: болезненная раздражительность его мало-помалу оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его произведения, то в самое пылкое негодование, которое он, по возможности, сдерживал.

На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря, а под рукой у него была другая «малороссийская грамотка», которую он несколько раз открывал, бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. «Знаете вы вот сию книжицу?» – он показал мне «грамотку». Я отвечал утвердительно. «А ну, если знаете, то скажите мне, для кого она писана?» – «Как, для кого?» – отвечал я на вопрос другим вопросом. «А так, для кого? – бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчїть разуму». Я постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и, видимо, продолжал думать о «грамотке».

«От як бы до весны дотянуть! – сказал он, после долгого раздумья, – да на Украину... Там, може бы, и полегло, там, може б, еще хоть Трошки подыхав». Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он расспрашивал меня о Варшавской железной дороге и Киевском шоссе. «Да! – сказал он, – когда б скорее ходили почтовые

экипажи, не доедешь живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, – умру я тут непременно, если останусь».

Я стал прощаться. «Спасыби, що не забуваєте, – сказал поэт и встал. – Да, – прибавил он, подавая мне свой букварик, – посмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете». С этими словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар. Утром 27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А.И. Ничипоренко, отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на черном катафалке виднелся гроб, обитый белым глазетом. У изголовья маленький человек читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании псалмов, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по дороге из Александрово-Невской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из переложенных им псалмов. Красные шторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагой и карандашами в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник – вот майорского чина дослужился, а братья его так еще «помещицкие». Я вспомнил г. Флирковского, законного помещика семьи умершего поэта... Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблуки, пошел на цыпочках – весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый

голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания библейского поэта-царя.

28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и после отпевания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять, – из них семь в церкви и две на кладбище. Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться, потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце – значит портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и г. Курочкина, которому сдерживаемые слезы мешали произнести свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могилу для Шевченки вырыли за колокольнею кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще «малыми ногами». В могилу был опущен дощатый ящик, выстланный в середине свинцом, но так дурно запаханный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный лавровый венок окружал его благородное чело, – в руках у многих тоже были цветочные венки, которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако женская слеза из глаз г-жи Белозерской и старушки Костомаровой не обошла могилы Шевченко. Многие очень жалели, что нет семьи Толстых, которые любили поэта и не забывали его в самые тяжелые минуты его многострадальной жизни.

Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожав-

шая покойника толпа стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки, старухи из богадельни канючили на упокой душеньки – на душе становилось тяжче и тяжче. Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова, и вот опять новая могила. Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.

Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены порусски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.

У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей «батьком рідного слова». *Oratores fiunt, poetae nascuntur.* {Ораторами делаются, поэтами рождаются (лат.).}

В 1861 г. день своего рождения Шевченко встретил тяжелобольным (расстройство печени, сердца, водянка). Под утро он скончался. Это случилось 26 февраля (10 марта н.с.) в Петербурге.

Т.Г.ШЕВЧЕНКО

СЛЕПАЯ

«Кого, рыдая, призову я
 Делить тоску, печаль мою,
 В чужом краю кому, тоскуя,
 Родную песню пропою?
 Угасну, бедный, я в неволе...
 Тоску мою, печаль мою
 О прежней воле, прежней доле
 Немым стенам передаю.
 О, если б стон моей печали
 И звук заржавленных цепей,
 Святые ветры, вы домчали
 На лоно родины моей
 И в мирной куще повторили,
 Где мой отец и мать моя
 Меня лелеяли, любили!
 А братья! Грешная семья,
 Иноплеменникам за золото
 От стад, еляя и вина
 Родного продали вы брата,
 Как на заклятие овна.
 О Боже, Боже иудеи,
 Благий Творителю земли,
 Не наказуй родных злодеев,
 А мне смирение пошли!»

Такую песню тихо пела,
 Сердечной грусти предана,
 Слепая нищая; она
 У барского двора сидела
 У незатворенных ворот.
 Но из ворот никто не идет,
 Никто не едет, опустели
 Хоромы барские давно,
 Широкий двор порос травой,
 Село забвенью предано
 С патриархальной простотою,
 С отцовской славою святою —
 Забыто все. Село молчит,
 Никто села не посетит,
 Не оживит его молвою.
 Как у кладбища, у ворот
 Сидит скорбящая слепая
 И псалму грустную поет.
 Она поет, а молодая
 Дочь несчастливцы моей
 Головкой смуглою прильнула
 К коленам матери своей,
 Тоски не ведая, заснула
 Сном непорочной простоты.

В одежде грубой нищеты
 Она прекрасна; полдень ясный
 Моей Украины прекрасной
 Позолотил, любя, лелея,
 Свое прекрасное дитя.
 Ужели тщетно пролетят
 Дни упоения над нею
 И светлой радостью своею
 Ея тоски не усадят?
 Она прекрасна, мать — калека,
 Кто будет ей руководить?
 Придет пора, пора любить,
 И злое сердце человека
 Ея любви не пощадит.

 невинным сном
 Оксана спит, а мать слепая,
 Уныло-тихо напевая,
 И каждый шорох сторожит.
 И если ветер, пролетая,
 Упавший лист пошевелит,
 Она немеет и дрожит,
 И робко к сердцу прижимает
 Свое единое дитя,
 Свою единую отраду,
 Незрящей памятью следя
 Давно минувших дней усладу
 Печальной юности своей.
 Она изведала людей...
 И у забытой сей ограды
 Они ее не пощадят,
 Они готовы растерзать
 Ея дряхлеющие руки,
 Для их невнятен стон разлуки,
 Чужда им матери любовь.
 Они твердят — закон таков:
 «Не должно в прахе пресмыкаться
 И подаянием питаться
 Прекрасной юной сироте;
 И мы ее оденем золотом,
 Внесем в высокие палаты
 И поклонимся красоте,
 Раскроем мир иных видений,
 Иных страстей высокий мир,
 Потом... потом...» И ваш кумир,
 Богиня ваших поклонений,
 От фимиама упилась
 И закоптела от курений;
 А ваша мудрость отреклась
 От обещанья; горстью золота,
 Великодушно бросив ей,

Затмили блеск ея очей,
 И вот она в грязи разврата,
 Во славу дряхлых ваших дней,
 Перед толпою черни пьяной
 Пьет кубок.
 И запивает сердца раны.
 Не вы виновны, но она!
 Вы дали все, что должно было
 Наложнице презренной дать.
 А сон девичий обновили,
 А возвратили ль благодать
 Ея невинных помышлений?
 Ея невинную любовь
 И радость тихих упоений,
 И целомудренную кровь
 Вы обновили ль? Не могли!
 Но, чада грешные земли!
 Вы дали ль ей восторг объятий
 Родного, милого дитяти,
 Кому бы, бедная, она
 Себя в сей мир переливала
 И тайну жизни открывала,
 Сердечной грусти предана?
 Развратной, бедной вашей кровью
 Вы не могли ей повторить
 Восторги девственной любви,
 Ее пустили вы влачить
 Остаток дней в мирской пустыне;
 И о родном, едином сыне
 Ей не придется получить
 Отрадной весточки сдалека.
 Чужие дети напоят
 Ее в предсмертный час жестокий,
 И одинокий гроб с упреком
 Чужие дети понесут.
 Но если ей судьба судила,
 Чтобы родимая рука
 Очи уснувшие закрыла,
 Тесна ее тогда могила,
 Постеля вечная жестка!
 Ея малютка за позором
 Безмолвно по миру пойдет,
 И в светлый праздник у забора
 Яичко красное возьмет,
 И со слезами и укором
 Свою родную помянет.
 Осенний полдень, полдень ясный
 Родимой, милой той земли,
 Мои где годы расцвели,
 Где так напрасно, так несчастно
 В недоле бедной протекли;

Осенний полдень, полдень ясный,
 Как друга юности, любя,
 Чужими звуками тебя
 Позволь приветствовать, прекрасный!
 Ты тот же тихий, так же милый,
 Не знаешь времени, а я...
 Не то я стал, что прежде было,
 И путь унылый бытия,
 И ноша тяжкая моя
 Меня ужасно изменили.
 Я тайну жизни разгадал,
 Раскрыл я сердце человека,
 И не страдаю, как страдал,
 И не люблю я: я — калека!
 Я трепет сердца навсегда
 Оледенил в снегах чужбины,
 И только звуки Украины
 Его тревожат иногда,
 Как эхо памяти невинной.
 В их узнаю мою весну,
 Мои унылые досуги,
 И в их [я] таю, в их тону,
 И сердца тяжкие недуги,
 Как благодатною росой,
 Врачую ими и молюся,
 И непритворною слезой
 С моей Украиной делюся.
 Но глухо все в родном раю!
 Я тщетно голос подаю,
 Мне эха нету из дубровы
 Моей козачки чернобровы.
 Там все уснуло. Пустота
 Растлила сердце человека,
 И я на смех покинут веком,
 Я — одинокий сирота!

Осенний полдень, догорая,
 Поля нагие освещал,
 И лист увядший, упавая,
 Уныло грустное шептал
 О здешней жизни человеку.
 Такой порой моя калека,
 Слепая нищая моя,
 И дочь красавица ея —
 Она спала, а мать сидела
 И тихо, грустно-тихо пела,
 Как пел Иосиф про свой род,
 Сидя в египетской темнице,
 А в поднебесье вереницей
 С дубров украинской земли
 На юг летели журавли.

Чему ж бы ей, как вольной птице,
Туда, где лучше, не лететь
И веселее не запеть?
Какая тайна приковала
К жилищу мрачной тишины?
Своей сердечной глубины
Она еще не открывала
Ни даже дочери своей;
Она лишь пела и грустила,
Но звуки дочерних речей
В ней радость тихую будили,
Быть может, прежних светлых дней.
Или ограда и тополи,
Что грустно шепчут меж собой,
Свидетели минувшей доли,
Или дубовый пень сухой,
Плющом увянувшим повитый,
Как будто временем забытый,
Ея свидетель? Все молчит!
Она поет, она грустит
И в глубине души рыдает,
Как будто память отпевает
О днях минувших, молодых,
О прошлых радостях святых.
И эти звуки выходили
Из сердца бедного ея,
И в этих звуках много было
Ея земного бытия.
И в сотый раз она кончала
Псалом невольничий глухой,
Поникла смуглой головой,
Вздыхнула тяжело и сказала:

«Ах песня, песня, песня горя,
Ты неразлучная моя.
В моем житейском бурном море
Одна ты тихая струя.
Тебя, и день и ночь рыдая,
Я всякий час пою, пою
И в край далекий посылаю
Тебя, унылую мою.
Но ветер буйный, легкокрылый,
Что прежде весело летал,
Теперь так тихо, так уныло,
Как будто друга потерял,
Как будто люди научили,
Чтобы не слушал он меня
И не домчал он в край далекий
Тебя, унылая моя!
Не видя вас, не зная дня
В моей печали одинокой,

Чем оскорбить я вас могла?
Что я вам сделала? Любила,
За ваши грешные дела
Творца Небесного молила,
Молила, плакала... А вы
В моей тоске, в моей печали,
Как кровожаждущие львы,
Упреком сердце растерзали,
Растлили ядом мою кровь
И за молитвы, за любовь
Мое дитя, мое родное,
Тяжелым словом понесли,
И непотребницей слепою
Меня со смехом нарекли!
Я вам простила, я забыла,
Я вашей славы не взяла,
Я подаянием кормила
Мое дитя!» И залилась
Слезами, горькими слезами.
Она рыдает, а Оксана
Раскрыла черные глаза:
Скорбящей матери слеза
Прервала сон отроковицы;
С улыбкой черные ресницы
Она закрыла. «Какой сон
Смешной и глупый, и как живо...»
И покраснелась стыдливо,
Сама не зная отчего.
«Как холодно, а ты все плачешь!
Уж скоро вечер; для чего
Ты мне печали не расскажешь?
И я бы плакала с тобою,
А то...» И хлынули рекою
Слезы невинной красоты.
«И ты заплакала... Прости,
Что о моих сердечных ранах
Я не беседую с тобой,
Я скоро плакать перестану,
Моею тяжкою слезой
Я не прерву твой сон прекрасный,
И о судьбе моей несчастной
Узнаешь ты не от меня.
Тебе расскажут злые люди,
Они тебя не пощадят,
И много, много горя будет.
А горе даром не пройдет.
Озlobит сердце пустотою,
Оно возьмет любовь с собою
И все наилучшее возьмет.
Не плачь, Оксано!» И, рыдая,
Она Оксану утешает:

«Не плачь, дитя мое, усни,
 Ты рано плакать начинаешь.
 Придет пора твоей весны,
 И тайну слез моих узнаешь;
 Свои прольешь, прольешь одна,
 Одна бездомной сиротою,
 И будет то моя вина,
 Что не разделишь...» — «А с тобою?
 Разве тебя я не люблю!
 Ах, мне с тобой и горе люблю,
 Я все с тобою разделю.
 Не понесу я чужим людям
 Мою сердечную слезу —
 К тебе на грудь я принесу.
 Только не плачь, делись со мною
 Своею тяжкою тоскою,
 Не плачь одна, откройся мне,
 И будет легче. Ах, послушай!
 О том, что видела во сне,
 Я расскажу тебе.
 Чаще, гуще
 Как будто лес, а мы вдвоем
 Так наобум себе идем.
 Потом темно, потом светло,
 Потом гляжу — тебя не стало,
 Я — ну бежать, кричать, устала,
 Села и плачу. Вдруг — село,
 Большая улица, большая,
 И я по улице иду,
 Мне грустно так, тоска такая,
 Я спотыкаюсь, упаду;
 Мне тяжело, мне давит грудь,
 А люди смотрят и смеются,
 Мне больно стало, а взглянуть
 Я будто на людей боюсь.
 Потом отаман мне кричит:
 «Вот я тебя!» Я испугалась
 И ну бежать... бегу... упала.
 А сын отамана стоит
 Как будто, грустный, над водою
 И тихо машет мне рукою.
 Вот я к нему и подошла,
 А он схватил меня руками.
 «Зачем в лесу ты не жила?
 Зачем ты в поле не росла? —
 Такими он сказал словами. —
 И мне нельзя тебя любить,
 Нельзя с тобою мне венчаться:
 Над нами будут все смеяться;
 А без тебя мне скучно жить,

Я утоплюсь...» — он сказал
 И так меня поцеловал!
 Не так, как ты... И я проснулась.
 Не правда ли, мудреный сон?
 Должно быть, худо значит он.
 Или не худо — ты не знаешь?
 Мне страх как хочется узнать.
 О чем же снова ты вздыхаешь?
 Или боишься рассказать,
 Что значит сон? Ах, расскажи!
 Ну, что же делать? Если худо —
 Мы в лес уйдем и будем жить
 С тобой вдвоем, и будет люблю
 С тобою вместе мне грустить.
 Ну что ж? Расскажешь?» — «Да, — сказала,
 Вздохнув, слепая, — рассказать
 Тебе должна я. Я устала,
 Устала горе выливать
 Неразделенными слезами.
 Тебе уже пятнадцать лет.
 Твой сон зловещий, сон ужасный!
 Ты встретишь горестный привет
 Своей весны, своей несчастной.
 Не вспоминай меня, прости
 И на просторе и на воле
 С унылым ветром погрузи,
 Как я грустила, тосковала,
 Мою вседневную печаль
 Как я лишь ветру поверяла;
 Но и ему меня не жаль,
 Он даже слез сушить не хочет,
 А их так много сердце точит.
 Оксано, выслушай меня
 И помолись душой незлобной
 Пречистой Деве в час прискорбный
 И за его, и за меня.
 Неправдой люди все живут,
 Ты их не слушай! Сказкой злою
 Они мой жребий понесут
 И посмеются над тобою.
 И ты не будешь правды знать;
 На суд ты будешь призывать
 Свою родную — а ты знаешь,
 Что слезы горько проливать,
 Коли вины своей не знаешь.
 Узнай же все: всю жизнь мою
 Я расскажу, не потаю,
 С ея весельями и мукой,
 Да будет для тебя наукой!

Своих родных не знала я,

В чужой семье я вырастала.
 Чужая добрая семья
 Меня любила. Я слыхала,
 Когда я стала вырастать,
 Что мать родная, умирая,
 Просила их не покидать
 Меня, малютку, покидая.
 Но кто она, ее как звали,
 Потом узнать я не могла.
 И я росла себе, росла;
 Меня сироткой называли,
 Потом красавицей слыла,
 Меня любили и ласкали,
 И даже сватали! Но я...
 Ах, знать, моя такая доля!
 Перед людьми гордилась я
 Своей красою. Свою волю,
 Девичью волю, берегла.
 Как тяжело люди отплатили!
 Недолго косу я плела —
 Ее накрыли. Вот как было.
 Весною умер дидыч старый,
 А летом дидыч молодой
 В село приехал. Злые чары
 Он из Московщины с собой
 Привез, красавец, для меня;
 И я веселье разлюбила,
 И Маковеевого дня
 Я не забуду до могилы.
 Как ясно солнышко светило,
 Как закатилось... и ночь!..
 Мое дитя! моя ты дочь!
 Не обвиняй меня, несчастной,
 Я стыд и горе понесла,
 И Маковеев день ужасный,
 И день рожденья прокляла!
 Мы были в поле, жито жали;
 Окончив жатву, шли домой,
 Подруги пели и плясали,
 А я с распущенной косой,
 В венке из жита и пшеницы
 Вела перед, была царица.
 Нас встретил дидыч молодой.
 Никто так мной не любовался!
 Я трепетала, тихо шла,
 А он смотрел и улыбался,
 О, как я счастлива была!
 Какою сладкою мечтою
 Забилось сердце у меня...
 На третий день... О мой покою!
 Зачем покинул ты меня?

На третий день... и я в палатах
 Была, как пани на пиру.
 Недолго я была богата.
 Зимую рано поутру
 Проснулась я — все пусто было,
 И сердце холодом заныло.
 А слуги... Бог им судия!
 С насмешкой выгнали меня
 И двери заперли за мною.
 Я села здесь, под этим пнем,
 И долго плакала... Потом
 Едва протоптанной тропкою
 В село забытое пошла
 И долю горшую нашла:
 Меня и в хату не пустили,
 Все посмеялись надо мной
 И хусткой черною простой
 Косу шелковую накрыли.
 И я, рыдая, из села
 Иной дорогою пошла
 В село чужое. Ах, Оксано!
 И в шитом шелковом жупане,
 И в серой свыти люди злы.
 Я из села в село ходила,
 А горе шло передо мной.
 Я горько плакала, молилась,
 И все смеялись надо мной.
 Покрыткой, дурой называли,
 И даже нищие чуждались.
 Во всей Украине родной
 Мне места не было одной.
 В лесу дремучем, в чистом поле
 Я не боялась ночевать:
 Там без свидетелей, на воле
 Могла свободно петь, рыдать.
 А песня горе облегчает,
 Хоть и унылая она.
 Спасибо, нищая одна,
 Такая же, как я, слепая,
 Меня учила песню петь,
 И я пою ее, рыдая,
 И до могилы буду петь.
 Дитя мое! Моя Оксано!
 Я скоро плакать перестану,
 Запомни песню ты мою
 И пой ее, как я пою,
 Она умалит сердца рану.
 Пришла и красная весна,
 Запели пташки, все проснулось,
 Все засмеялось — я одна
 Святой весне не улыбнулась.

Она мне слезы принесла.
 Занемогла я на дороге,
 Кой-как до хутора дошла...
 И ты на хуторе убогом
 Узрела милый Божий свет.
 О, сколько радостей у Бога
 Для наших слез, для наших бед!
 Твой первый звук... Ах нет, не стану...
 Нет... Поцелуй меня, Оксано!
 Я не умею рассказать
 Про ту святую благодать,
 Что только матери избранной
 Душою можно понимать —
 То выше счастья людского.
 И как несчастлива, убога
 Жена бесплодная... С тобой
 Мне снова счастье возвратилось,
 Я любовалася весной,
 Цветы я снова полюбила,
 Цветы я снова берегла.
 С восходом солнца я вставала.
 Ты на груди моей спала.
 Никем невидима, бывало,
 Прокрадусь в лес, найду цветок
 И сяду у цветка с тобою.
 Ты тихо спишь, а он цветет,
 И я гордилася тобою
 Пред распускавшимся цветком.
 Бывало, я сорву тайком
 Листочек розовый, румяный
 И тихо-тихо положу
 Тебе на щечку... погляжу
 И оболью тебя слезами.
 Была ты розовой цветка
 И утренней зари румяней.
 Так мне Господь добро творил
 В тебе и розовых листках.
 Но... как тебя не забавляла,
 Какие песни не певала,
 Как не играла я с тобой,
 А злая доля шла за мной.
 Я не могла тобой гордиться:
 Мне было не с кем поделиться
 Твоею детскою красой.
 Ты слово «мамо» лепетала,
 Но слова лучшего не знала,
 Как и теперь не знаешь ты.
 Я не могла с тобой идти
 Через село, я не стыдилась —
 Пусть люди смотрят, как хотят!
 Я стыд любовью заменила.

Тебе боялась показать,
 Как дети меж собой играют,
 Боялась видеть, как дитя
 Отца усталого ласкает.
 Так время шло; ты вырастала,
 И любо было мне смотреть,
 Когда ходить ты начинала.
 Но горе горькое терпеть
 Судил Господь мне до могилы
 За юность грешную мою.
 Свет гаснуть стал... О Боже милый!
 Я над могилою стою,
 Пошли мне мудростью Своею
 Взглянуть на милый Божий свет,
 Проститься с грешною землею,
 Хотя на место посмотреть,
 Где я усну, усну навеки!

 И я ослепла. Слезы-реки,
 Молитвы теплые — ничто,
 Ничто Творца не умилило,
 И все, что душу веселило,
 Как будто в гробе заперто.
 Потом, что было, я не знаю,
 Смеялись люди или нет.
 Мои беды вспоминая,
 Мне только жаль, что Божий свет
 Не скрылся в юности беспечной;
 Тогда б не знала ничего:
 Ни сладкой доли скоротечной,
 Ни даже сердца своего.
 Теперь к печали бесконечной
 Пристала горшая печаль.
 Ты хороша собой, Оксано,
 Я это знаю, и мне жаль —
 Твой сон недобрый очень рано
 Тебе приснился».

Оксана

Разве он
 Какое зло нам предвещает?

Слепая

Он для меня всех бед страшнее,
 А для тебя еще ужасней.
 И ты погибнешь от людей,
 Как я погибла. Ты не знаешь,
 Что скоро встретишь между ими
 Змию, ужасную змию!
 И ты пойдешь за нею следом,
 Покинешь голову мою,

Как я покинула, забыла
 Меня вскормившую семью.

Оксана

Ведь ты не знала, что так будет,
 Что насмеются злые люди,
 Что он недобрый человек,
 Что он покинет. Мамо, мамо,
 Ты говорила все такое,
 Что страшно стало. Где же он,
 Мой злой отец? Ты говорила,
 Что здесь увижу я его.
 И сколько лет уже с тобою
 Сижу я здесь — его все нет.
 Он не приедет, он покинул,
 Тебя он, видно, не любил.
 Зачем же ты его любила?
 Уйдем из этого села,
 Мне страшно стало.

Слепая

Ах, Оксано!
 Куда уйдем мы от людей?
 Где твою молодость укрою?
 А он приедет, и тогда,
 Тогда спокойно я умру.

Слепая грустно замолчала.
 Оксана с детскою тоской
 К ней на колени тихо клала
 Головку смуглую свою.
 «Усни, Оксано, — говорила, —
 Я тихо песенку спою,
 Спою любимую твою,
 Как братья брата продавали
 В чужую, дальнюю страну».
 И отходящую ко сну,
 Лелея, нежно целовала,
 Читая тихо сей псалом:
 «Храни тебя, Святая Дева,
 От злых напастей, бурь земных!
 Да будет сон твой сладок, тих,
 Как непорочные напевы
 Небесных ангелов святых.

Да не дерзает искуситель
 В сердечну храмину войти,
 И по терновому пути
 Да волит ангел-охранитель
 На лоно Рая привести.
 Храни тебя, Святая Дева,

От злых напастей, вражьих ков,
 Свой найбожественный покров
 Пошли тебе, Святая Дева,
 Мое дитя, моя любовь!»

Наутро юная Оксана,
 Как утро осени в тумане,
 Скорбя невинною душой,
 У ног страдальницы слепой
 Уныла, бледная сидела.
 Слепая ту же песню пела,
 И тот же в сердце непокой.
 Не скоро дни текут над ними.
 Не ясно солнышко горит.
 Пришла весна, и двор пустынный
 Вдруг оживился, все кипит
 Веселой жизнью, как бывало.
 Приехал дидыч на покой,
 Чету страдальц разлучили.
 Оксана в доме заперта,
 А одинокую слепую
 Одеть велели и прогнать
 С наказом строгим не шататься
 Вокруг господского двора.
 И рада, бедная, была,
 Что так сбылось, как мечтала.
 «Теперь, — так думала слепая, —
 Теперь Оксаночка моя
 Укрылася от непогоды,
 Будет счастливою». И шла
 С любимой песней из села,
 Из обновленного села,
 Моля Небесную Царицу,
 Да благо дщерино хранит.

.....
 Оксана грустная сидит
 В роскошно убранной светлице,
 Одета бархатом, парчой,
 И не любит себя собой
 Перед большими зеркалами.
 Проходят месяцы за днями.
 Как панне, все готово ей,
 И ходит сторож у дверей.
 Сам дидыч сласти ей приносит,
 Дарит алмазом, жемчугом
 И на коленях ее просит
 Не звать ни паном, ни отцом.

 Зачем все это?! И рыдала...
 Запел весною соловей,
 Запел не так, как он, бывало,

Поет пред утренней зарей,
 Когда малюточка Оксана,
 Пока покоилось село,
 Шалашик делает с бурьяну,
 Чтоб маму солнце не пекло,
 Когда ходила умываться
 Она в долину и потом
 Барвником, руты наряжаться
 И ненароком повстречаться
 С черночупринным козаком.
 Печальный вечер ночь сменила
 Еще печальней. Тяжко ей,
 Она сидела и грустила
 О прошлой бедности своей.
 И слышит песню за оградой,
 Знакомый голос ей поет
 Печально, тихо:

«Текла речка в чистом поле,
 Орлы воду пили.
 Росла дочка у матери,
 Козаки любили.
 Все любили, все ходили,
 И все сватать стали,
 И одного между ими
 Козака не стало.
 Куда скрылся, дивилися,
 И никто не знает.
 Поселился в темной хатке
 За тихим Дунаем».

Оксана молча трепетала,
 Ей каждый звук рождает мечту.
 «Он не забыл, — она шептала, —
 Он не покинет сироту...»
 За каждым звуком вылетает
 Из сердца черная тоска,
 Она себя воображает
 Уже в объятьях козака.
 Уже за садом, за оградой,
 Уже на поле... воля... рай...

 «Держи! держи! лови! стреляй!» —
 Раздался хриплый голос пана.
 И выстрел поле огласил.
 «Убили!! — вскрикнула Оксана. —
 Убили!! Он меня любил.
 Любил!!» И замертво упала.
 То был не сон. То пел козак,
 Удалий, вольный гайдамак.
 Оксана долго дожидала

Любимца сердца своего
 И не дождалась его.
 Отрадный звук не повторился,
 Надежды вновь не прошептал,
 Он только снился, часто снился
 И юный разум разрушал
 Мечтой бесплодную...

«Птицы, вольные сестрицы,
 Полетите в край далекий,
 Где мой милый кароокий,
 Где, родная, край дороги.
 Болят руки, болят [ноги],
 А я долю проклиная,
 С поля воли дожидаю!»
 Так пела бедная Оксана
 Зимой в светлице у окна.
 Неволя стерла цвет румяный,
 Слезою смылась белизна.
 «Быть может, здесь, — она шептала, —
 Зимой проснулась мать моя,
 А я... дитя ее... а я...»
 И, содрогаясь, замолчала.
 Темнело поле. Из тумана
 Луна кровавая взшла.
 Взглянула с трепетом Оксана
 И быстро молча отошла
 От неприветного окна,
 Страшась кровавого светила.

 Завыли псы, рога трубили,
 И шум, и хохот у ворот —
 Охота с поля возвратилась,
 И пан к страдалнице идет
 Бесстыдно пьяный...

 Слепая, бедная, не знала
 Недоли дочери своей,
 С чужим вожатым спотыкалась
 Меж неприязненных людей.
 Ходила в Киев и Почаев
 Святых угодников молить
 И душу страстную, рыдая,
 Молитвой думала смирить.
 И возвратилась зимою
 В село страдания тайком.
 Сердце недобрым чем-то ныло,
 Вещало тайным языком
 Весть злополучия и горя.
 Со страхом в сердце и тоскою
 Тихонько крадется она

Давно изведанной тропею.
 Кругом, как в гробе, тишина.
 Печально бледная луна
 С глубокой вышины сияла
 И белый саван озаряла
 На мертвой грешнице земле.
 И вдруг открылася вдали
 Картина страшная пожара.
 Слепая, бедная, идет,
 Не видя наших зол и кары,
 И очутилась у ворот,
 Весною кинутых. О Боже!
 Что она слышит? Треск и гром,
 И визг, и крик, и гул протяжный,
 И жаром хлынуло в лицо.
 Она трепещет. Недалеко
 Вдруг слышит голос... Боже мой!
 Чей это голос ты узнала?
 Узнала... страшно... то Оксана!
 На месте том, где столько лет
 Они вдвоем, грустя, сидели,
 Она, несчастная, сидит;
 Едва одетая, худая,
 И на руках, как бы дитя,
 Широкий нож в крови качает.
 И страшно шепчет:
 «Молчи, дитя мое, молчи,
 Пока спекутся калачи,
 Будем медом запивать,
 Будем пана поминать».

(Поет.)

«А у пана два жупана,
 А третья свита,
 За то пана
 Утром рано
 В дуброве убито.
 А убили гайдамаки,
 Жупаны делили:
 Тому жупан, тому жупан,
 А третьему свита,
 И остался без свиты пан
 В снег белый зарытый.
 Ай да гайдамаки!»

Слепая

Оксано! Где ты?

Оксана

Ах, молчи!
 Дай убаюкать мне сынка!

(Поет.)

«Баю-баю, дитя мое,
 В дремучем лесу,
 А я тебе с поля волю,
 Долю принесу.

Баю-баю, дитя мое,
 Во сыром бору,
 А я пойду погуляю,
 Ягод наберу.

Баю-баю, дитя мое,
 Край битой дороги,
 Переломят люди руки
 И белые ноги.

Баю-баю, дитя мое,
 У гробу дубовом,
 Полияют кари очи
 И черные брови.

Усни, дитя, усни, дитя,
 Усни ты навеки,
 А я одна на базар пойду,
 У жида крови наточу
 И тебя полечу».

А... уснул! Теперь возьми.
 У! какой черный... посмотри!

Слепая

Оксано! Где ты? Что с тобою?

Оксана

(быстро подходит к ней.)

А ты где ходишь? Посмотри,
 Какой веселый пир у пана!
 Да пан не будет пировать —
 Я уложила его спать.
 Тебя одной не доставало.
 Я подожгла, пойдем плясать.

(Поет и медленно пляшет.)

«Гой, гой, не беда!
 Слезы тоже вода,
 Слезы гасят печаль,
 А печали мне жаль,
 Жаль мне грусти моей,
 Жаль подруги моей,

Моей черной тоски...»

Моей... моей... Ах нет, не то...
Теперь так весело, светло,
А я как будто на поклонах.

(Поет и пляшет.)

«Посеяла лебеду на беду,
А долина калиною поросла,
А у меня, красавицы,
Змии-серьги в ушах
Через плечи висят,
И шипят, и шипят.
Козак верно любил,
Козак серьги дарил.
Мать в могиле спала,
А я, знай себе, шла,
Шла дорогой большой,
А за мной, все за мной
По четыре, по три
Косари, косари
Бурьян косят, поют...»

Слепая

Оксано бедная, молился,
Молился Богу, ты поешь
Все песни страшные такие!

Оксана

А ты смеяться, мамо, хочешь?
Э, полно, мамо, столько лет
Ты хохотала, я смеялась —
Поплакать можно одну ночь.

Слепая

Дитя мое, моя ты дочь!
Опомнись, грех тебе, Оксано,
Ты насмеялася.

Оксана

Кто? Я?
Не насмеялася! Смотри!
Смотри, как падают стропила.
Гу!.. гу!.. гу!.. Ха-ха-ха-ха!
Пойдем плясать, его уж нет,
Он не разлучит нас с тобою.

(Поет и пляшет.)

«По дороге осока,
А в болоте груши,

Полюбила козака,
Запродала душу.

А козак
Так и сяк,
Не любил,
Задушил,
В сыру землю зарыл.
В темной хате сырой
Спать ложилась со мной
Ведьма черная,
И смеялася,
Обнималася,
Ела, грызла меня,
Подложила огня,
И запела, заплясала,
И скакала, и кричала:
“Жар, жар, жар!
Через яр
На пожар
Все слетались,
Любовались
И смеялися:
Хи-хи-хи, тра-ла-ла-ла,
Не осталось ни кола,
Смоляная черту свечка!
Через яр идет овечка.
Не ходи, козак, в дуброву,
Не ходи, Ивашечко,
Торною дорожкой,
Не носи гостинчики
Змии, черной гадине.
Чародейка лютая
Сотрет брови черные,
Выжжет очи карие”».

Слепая

Опомнись, дочь моя, Оксано!
Ты все недоброе поешь,
Пойдем в село — здесь страшно стало!

Оксана

Пойдем в село, здесь душно мне,
Я босиком, как на огне,
На розовом снегу танцую,
Пойдем в село, переночуем.
А кто нас пустит ночевать?
Ведь люди, знаешь, нас боятся.
Пойдем мы в лес волков ласкать,
Ведь люди врут, что волки злятся,
Волки нас любят — право, так!
А помнишь, ты мне говорила...

Ах нет... не то... постой, забыла!
 Я все забыла... Мой козак,
 Мой кароокий... Я любила,
 И он, козак, меня любил,
 И темной ночью он ходил
 В зеленый сад, где я гуляла.
 Ах, как там весело бывало!
 Как он, лаская, целовал,
 Какие речи он шептал!
 Ты так меня не целовала,
 Как он, мой милый, дорогой,
 Мой ненаглядный, мой сердечный!

.....
 Ты говорила, он не злой,
 А он, твой пан, бесчеловечный,
 Твой пан-палач его убил
 За то, что я его любила,
 За то, что он меня любил,
 Злодей, в железа заковал.
 Об этом я не говорила
 С тобою даже. Он пропал,
 Пропал без вести, как пропала
 Моя девичья краса.
 А ты слыхала чудеса...
 Он в гайдамаках отаманом
 И этот нож мне подарил.
 Он приходил...

Слепая

Пойдем скорее!
 Веди меня!

Оксана

Куда вести?
 В болото, в лес? Постой, постой!
 Я поведу тебя в село,
 Где все бурьяном поросло,
 Где вместо хат кресты, могилы,
 Где поселился друг мой милый
 В светелке темной и сырой.

Слепая

Пойдем скорее. Бог с тобой!
 Перекрестися!

Оксана

Я крестилась,
 Я горько плакала, молилась,
 Но Бог отверг мои кресты,
 Мои сердечные молитвы.

Да, он отверг. А помнишь ты?
 Нет, ты не помнишь, ты забыла.
 А я так помню, ты учила
 Меня, малютку, кровь сосать,
 Да «Отче наш» еще читать.

Слепая

Оксано, Боже мой, молись,
 Ты страшно говоришь!

Оксана

Да-да.
 Я страшно говорю, так что же!
 Ты не боялась сидеть
 Осенней ночью у забора
 И просидела двадцать лет —
 Пойдем опять туда сидеть.
 Пойдем же, мамо, будем петь,
 Пока народ не пробудился.
 И будем петь, как снарядился
 Козак с ордою воевать,
 И как покинул он дивчину,
 И как другую полюбил.
 Ведь это весело — покинуть
 В чужой далекой стороне
 Листок с любистка на огне.

(Поет тихо.)

«Плыви, плыви, лодочка, за Дунай,
 За Дунаем погуляю молода
 С козаками-молодцами мертвыми,
 С козаками-мертвецами».
 Чур меня! Чур меня! Чур меня!
 Пойдем скорее. Ах, постой!
 Я потеряла башмаки.
 А башмаки ведь дорогие,
 Да ноги жгли мне, все равно
 Мне их не жаль, и босиком
 Дойдем до гроба...

(Поет.)

«Полетела пташечка
 Через поле в гай,
 Уронила перышко
 На тихий Дунай.
 Плыви-плыви, перышко,
 Плыви за водой!..»
 Я все молчала, все молчала,
 А он шептал и целовал.

Сулил намисто с дукачами.
Зачем ты не велела брать?
Ведь им бы можно удавиться.
А знаешь что, пойдём к реке
Купаться просто, и утонем,
И будем шуками в воде.
И пташкам воля в чистом поле,
И пташкам весело летать,
А мне так весело в неволе
Девичью молодость терять.
Я разве грешница какая,
Отраву, что ли, я варю?
Нет, я не грешница, ты знаешь,
Всему я верила, всему,
Но кто поверил моей вере?
Теперь не то. Летит! Летит!
Нет, ты не вылетишь, проклятый,
Я задую тебя! Держите —
Красный змий! Красный змий!
Он рассыплется потом...
Га! га! ги!!!..

И, будто мщение живое,
Она с распущенной косой,

С ножом в руках, крича, летела
И с визгом скрылась в огне.
Вдруг крик пронзительный. Вздогнула
Слепая молча и, крестясь,
«Аминь, аминь, аминь!» — шептала.
И крик сменил протяжный гул,
Стена упала, гул ревел
И смолк в долине безучастной,
Как в глубине души бесстрастной.
Пожар, лютея, пламенел,
Слепая, бедная, стояла
В дыму и пыли снеговой,
Она Оксаны дождала
И «Со святыми упокой»
Неволью с трепетом шептала.
И не дождалась слепая
Своей Оксаночки; ушла
Из погорелого села,
Псалом любимый напевая:
«Кого, рыдая, призову я
Делить тоску, печаль мою?
В чужом краю кому, тоскуя,
Родную песню пропою?»

Георгий КАЮРОВ

Не надо быть красивыми людьми!

(Критика на статью Анны Болученковой «Будьте красивыми, люди», напечатанную в газете «Коммунист».)

Не часто встретишь статью в периодической печати, подписанную доктором наук. Подобные материалы хочется прочесть и, конечно, в унисон статьи (сам бог велел!) ответить. Такое пропускать точно негоже – звание автора не позволяет. Итак, уважаемая Анна Болученкова, доктор педагогических наук.

Статья начинается с набата. «Красота... Всегда ли она рядом с нами, желаем ли мы ее видеть и ощущать, создавать?» Тут же спрашивает автор. И уже со второго предложения видно, что в душе у нее смятение. А ведь для философа – на это рассчитывает автор своими рассуждениями – и так понятно, что красота нас окружает повсюду. Это и цветок в горшке, и цветы на клумбе, и стриженный газон, это и дизайн автомобиля, архитектура города, люди, весь мир, окружающий человека, да и сам человек – это все красота! Только один может ее увидеть во всем, а другой – частично, а кто-то и вовсе проживет, ничего не замечая. Это хотел сказать автор? Тогда и фраза по-русски будет звучать по-другому: **Красота... Это весь окружающий нас мир, но желаем ли мы ее видеть, ощущать и создавать?**

Автор задается вопросом о красоте, но сама ничего не может предложить. Поставила вопросительный знак и заговорила о какой-то **буре**. Откуда взявшейся, в контексте предыдущего вопроса не понятно. Может быть, автор имела в виду бурю восхищения, восторга красотой? Ан, нет! Автор подвергает сомнению, а способны ли мы слиться с мигмом, раствориться в нем, радоваться этому чуду бесконечно долго. Во-первых, если долго, то это уже не миг и зачем ему радоваться. Но автор опять не дает ответ, а снова задает вопрос, но уже на другую тему. «А хотим ли мы волновать свое сердце, развиваем ли мы в себе эту способность?» Прости-

те, дорогой автор, какую способность? Волновать сердце? Это как? Замедлить биение сердца у йогов читал, а волновать – как развить такую способность? Сразу скажу – как метафора это не годится. Вот таким введением начинается разговор, и что же от него ждать? Если у самого автора «буря в собственных мыслях».

Повествование доктор Болученкова начинает с рассказа о том, как наблюдала за художником, пишущим старую вишню. «Она, вопреки всему, украсила ветви бело-розовыми лепестками, став, уже в который раз, наивно-трогательной невестой». Что бросается в глаза? Вымысел или безграмотно переданы ощущения. Если художник «ОН», то предложение должно начинаться с «ОН», а не «ОНА». Если под «ОНА» подразумевалась вишня, то почему вопреки? То есть на картине были изображены лютая стужа и засыпанная снегом вишня, которая вопреки всему, зацвела? Или автор имела в виду – зацвела вопреки старости? То есть, если мы нарядим столетнюю бабушку в фату и белое платье, то она станет наивно-трогательной невестой вопреки старости? Нет, госпожа доктор. Она будет бабушкой, облаченной в наряд невесты. А старая вишня просто будет украшена цветом. Я уже не говорю о ляпе, о непростительной литературщине – «...украсила ветви бело-розовыми лепестками...» Что, из веток выросли одни лепестки? А цветки куда делись? Или они выросли отдельно от лепестков? Тоже как метафора не годится. Конечно, куда красноречивее звучит «...наивно-трогательная невеста». Сколько в этих словах, возможно, личного для автора! И совсем не укладывается в тот романтический настрой, который вначале попыталась задать уважаемая доктор. Иначе, зачем же принижать свадебное торжество и трогательность не-

весты, ткнув ее наивностью. Понятно, что невеста наивна, если смотреть на ее сияющее от счастья лицо, имея большой и, наверное, неудачный личный опыт семейной жизни. Ладно, Бог с ней, с невестой. Что же дальше?

А дальше речь почему-то пошла о пчелах. «Вокруг цветов жужжали пчелы». Ну, как это? Вы представить можете? Вы хоть раз видели это где-нибудь? Вот в мультфильме о Вини Пухе пчелы жужжат, но, простите, там и Вини Пух разговаривает. Я уже опускаю то, что это Вы комментируете картину. А летают у Вас пчелы? Или Ваши пчелы только «вокруг цветов жужжат»? Далее вообще абракадабра. Вчитайтесь. «Их усердие, сосредоточенность становились укором собственной созерцательности и бездействию». Что это такое? Что Вы хотели сказать? Как пчела может быть сосредоточенной? Сосредоточенность – это чисто человеческое понятие. А заканчивается предложение, как в поговорке: В огороде бузина, а в Киеве дядька. Но Вам, дорогой доктор, этого показалось мало. Как у Ильфа и Петрова, тут Остапа и понесло. «Какое целенаправленное созидание, какая настойчивость и, наконец, соответствие своему назначению!» Восторгаетесь Вы! У кого созидание, да еще и целенаправленное? У художника? У пчел? Пчелы существуют инстинктами. В чем созидательность пчел? Зайдите на кафедру биологии и спросите у коллег. И почему восторгает соответствие пчел своему назначению? Я не видел, чтобы пчелы занимались чем-то другим. Открою Вам большой секрет – они даже специально не заготавливают для людей мед. Это мы, люди, научились использовать пчел и своевременно отбирать у них отрывки, которые они складывают в соты, а мы потом называем это медом. А пчелы отгрызают, заготавливая корм для себя и потомства на зиму. Человек забирает соты с медом и закладывает вощину. Пчела прилетает, а сот нет. Инстинкт ее направляет строить ячейки, чтобы в них отгрызывать собранный у цветов нектар. А вот если бы пчеле была знакома целенаправленность, то она после нескольких

изъятий человеком сот потеряла бы цель даже прилетать в улей. Зачем? Если она собирает-собирает, носит-носит, а к цели не продвинулась. Пропадает целенаправленность.

Что же касается высказывания Ф.М. Достоевского «Красота спасет мир!», то оно имеет вполне конкретную историю. Достоевский призывал видеть окружающий нас мир, считая, что тот, кто научится видеть его многообразную красоту, не захочет ее разрушать, и тогда не будет в мире войн. Это высказывание давно известно, и не стоит ему приписывать другие редакции. Тем более, что в Вашей версии они нелепы. Поскольку все в мире соответствует своему предназначению – призывай или не призывай. Это так же достоверно, как то, что ночь сменяет день.

Далее Вы пишете: «Именно мы, наделенные, в отличие от другого животного мира, разумом ...». Сделаю для Вас очередное открытие. Человек – это не животное. Учебник «Биология» за седьмой класс и учебник «Человек» за восьмой класс советского всеобщего (это чтобы я не пересказывал курс уроков средней школы) сами прочтаете на досуге. Это к Вашему «...от другого животного...» Говоря так, значит не сомневаться, что человек – это один животный мир, а есть еще и другой. Мир, даже если он и животный, никогда не имел разума и сознания. Мир – это то, что нас окружает – деревья, люди, животные, машины, здания. Только человек имеет разум. Ваша фраза могла бы по-русски звучать так: **Только человек имеет разум, в отличие от животных.** Но эта аксиома давно известна. Поэтому можно просто сказать: Человек имеет разум. Или, что еще лучше, начинать повествование без подобных уточнений. Не стоит так неуважительно относиться к читателю.

К «сознанию» относится то же самое. Только человек может осознавать происходящее. Животное живет инстинктами! Это простейшие знания школьного всеобщего.

Наконец, дошли до предназначения

человека. Вы спрашиваете: «А каким становится человек, если не выполняет своего предназначения?» Рискну утверждать, что даже школьник знает: несчастным. Почему? Потому что не может родить ребенка и продолжить род. И Вы знаете, уважаемая доктор, это единственное предназначение человека. Не путать с его многогранной деятельностью. Мы говорим сейчас только о предназначении человека. А оно до безобразия просто – родить ребенка и продолжить род!

Следующий вопрос умиляет (я уже устал считать Ваши вопросы и задумался, как же Вы будете на них отвечать сами?): «Если пренебрегает своей духовностью?» Простите – это как? Открываю словарь и читаю: Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. То есть получается, что она, духовность, может либо быть, либо не быть. Если ее нет, то нечем и пренебрегать, а если она есть, то как ею пренебречь? То есть. Человек воспитан, образован, духовно богат, не раб вещизма, но он может всем этим пренебрегать? Это как? Пример приведите.

Вы говорите: «Несомненна связь красоты с духовностью...». А я знаю людей не красивых, но духовно богатых. Вы можете утверждать, что духовность украшает человека. Да, я согласен с Вами, но тело может продолжать быть уродливым! И если духовно богатый человек замолчит, то к нему из-за уродства никто и не подойдет. Нет внешней красоты и не увидать красоты духовной. В русском языке есть пословица: Встречают по одежке, а провожают по уму. Так общество в большинстве своем и живет. Увидит красивого человека, а он дурак. И где подтверждение Вашим словам. Или наоборот. Не замечает уroda, а заговоришь с ним, и оторваться от него не можешь. Тому пример баснописец Эзоп. Он был уродом редкостным, но ума отменнейшего! Лучшие женщины желали его!

Далее по тексту с правилами Вы вообще, по-моему, накуролесили, даже не хочу разбираться. А вот со святыми,

это интересно. Вы спрашиваете: «Разве жизнь хоть одного святого кому-то навредила?» Вы какую жизнь имели в виду, уважаемая доктор? Жизнь до возведения в святые или после возведения? Как пример Вам, Мария Магдалина. Была падшей женщиной, шлюхой. Это букет вензаболеваний, и она как рассадник этой заразы. Если судить сегодняшними достижениями медицины, что все лечится, то вроде, как заразила, ну и что? Иди, вылечись, а раньше? Других святых я даже боюсь трогать, сколько крови сольется с их рук. Опять же я с Вами говорю только в рамках Нового завета. Потому что в Старом завете вообще руки всех святых политы кровью, как до святости своей, так и после. Кровопролитие для них норма!

Далее Вы утверждаете, что психология, медицина подтверждают те истины, которые изложены в священной литературе. Знаете, как говорил Огурцов: Давайте факты! Фамилия, где работает! Не надо голословно заявлять то, чего не знаете или не уверены. Как медицина подтвердила истину, которую утверждает религия, что после смерти на седьмой день можно воскресить человека, катая через его могилу крашенные яйца? Факт приведите, шляпу сниму.

Вы пишете: «Можно любую идею сделать либо глубоко гуманной или античеловеческой...» И приводите пример Гитлера. То, что идеи и деяния Гитлера были направлены против человека, я согласен, но как их можно использовать на благо человека? Вы же утверждаете, что возможно так и эдак. Как частный пример Вы привели концлагеря. Предложите концлагерь на благо человека или, как Вы говорите, «...глубоко гуманной...» Далее Вы вообще не понимаете, что хотели сказать: «Но его так называемый развитый эстетический вкус не явился гарантией высокоморального поведения». Используя «так называемый», Вы уже подвергли сомнению эстетический вкус Гитлера, зачем же далее удивляться, что нечем гарантировать высокоморальное поведение. Вы же не сомневаетесь, что не было эстетического вкуса? Я не вда-

юсь в анализ связи между эстетическим вкусом и высокоморальным поведением. Ограничусь тем, что одно может быть при отсутствии другого.

Духовные ценности или есть, или их нет. Это персонально для каждого. Нет в обществе одних духовных ценностей на всех. Могут быть одинаковые методы их воспитания и развития – это школьный всеобуч, институт, семейное воспитание, искусство, культура и так далее. Могут быть предложены ориентиры – Честь, Совесть, Любовь, Верность, Служение Родине, Патриотизм и другие. Но воспитывать в себе духовные ценности будет каждый человек персонально. Потому мы, люди, такие разные! Или Вы не заметили?

Вы и за совесть схватились, но с совестью то же самое. Она может быть или не быть. Чем отличается религиозная совесть от обычной совести человеческой? Или, как Вы разделяете, на совесть светскую? Чем они различаются? Вы предлагаете возродить совесть светскую и религиозную. То есть Вы допускаете, что один человек может в себе возродить и ту и другую совесть? А в какой очередности пользоваться, не подскажете? А если кто-то, имея две совести, перепутает, какую к чему применить? Как посоветуете различать, когда применять светскую совесть, а когда религиозную?

Вы утверждаете, что религиозные познания и научные дополняют друг друга. Вот пример. Наука доказала и мы увидели из космоса, что земля круглая и она вертится. Кстати, кого-то там сожгли на костре из-за этого утверждения. Не подскажете, кого и кто? Вы, кажется, назвали его верующим человеком, а жизнь его палачей хотите записать в пример, как святых, никому не причинивших зла. Так вот. Религиозное учение утверждает, что земля – диск и стоит она на трех слонах, а слоны на ките. Как эти два учения могут дополнять друг друга?

Отвечу и почему великие ученые были верующими людьми. Потому что инквизиция лютовала! Даже намек на отрицание бога подводил их к эшафоту.

Поэтому многие ученые, чтобы сохранить жизнь свою и близких, а известно, что инквизиция уничтожала и родственников еретиков, ходили в церковь и соблюдали религиозные культы для того, чтобы заниматься наукой!

Что же касается Ушинского. Этот бедствующий студент, философ-педагог не мог найти себе постоянного заработка. А, как известно, церковь во все времена была самой богатой. В наше время, кстати, тоже. Вот Ушинский, будучи студентом, и подражался пописывать им всякие работки, чтобы прокормиться.

Уважаемая доктор, я не знаю, какое общество Вас окружает, но материться, сквернословить всегда было и по сей день остается постыдным занятием. И бог в данном случае ни при чем. Хотя мат – это тоже язык народа!

Вы пишете: «Религия, наука и искусство – это способ познания человеком реальности. Достаточно вспомнить, что были времена, когда наука, в современном ее понимании, не существовала...» Простите, что Вы хотите сказать? Наука всегда была наукой! Наука означала то же самое пятьсот лет назад, что и сегодня. И тысячу лет назад. Просто тогда был один объем знаний, а сегодня он другой – больше в крат раз.

Вы меня извините, уважаемая доктор, но у Вас такой винегрет в голове. Вчитайтесь, что Вы написали. «Воспитывать в религиозном духе – это значит следовать законам духовного развития. Почему же этого боятся ученые-атеисты? Ведь сами они неукоснительно признают и следуют законам научного познания». Нет законов духовного развития. Есть направления – культура, наука, нравственное воспитание, методики развития личности, а станет ли человек духовным? Увидим! И Вы правильно заметили, ученые-атеисты не боятся, а занимаются исследованиями, то есть наукой! Им некогда оглядываться, пока Ваши десять заповедей разрешат разрезать тифозного покойника, чтобы исследовать и научиться противостоять тифу, что ученые и сделали, победив тиф. А цена этой победе – тысячи

казненных, замученных святыми отцами исследователей!

Как пример приведу Вам Наполеона. Он первый (более двухсот лет назад) решился нанести удар по инквизиции. С его, Наполеона, правления наука начала развиваться саженными шагами. Теперь оглянитесь в историческое прошлое. За двести с небольшим лет человек полетел в космос, имеет самолеты, пароходы, освоил Арктику, мобильные телефоны, газовые плиты с шестым чувством, компьютеры и многое другое. Всех достижений и не перечислишь. Но до Наполеона инквизиция существовала триста лет!!! Что это значит? Любая научная мысль каралась и пресекалась, и исследователей, ученых, музыкантов, художников религиозные деятели отправляли на пытки и эшафот. Развратные религиозные деятели извели всех красивых женщин, называя ведьмами. Что они с ними делали в своих темницах? Догадываетесь? А потом убивали. Чтобы скрыть свои низменные

пороки. Тем же гонениям подвергались и красивые юноши. Поскольку мужеложство и педофилия имеют дату рождения не современную, а вековую и времен инквизиции!!!

Так вот, представьте себе, если бы человечество не потеряло бы триста лет мракобесия инквизиции, в каком научном прогрессе мы бы жили сегодня. Думаю, что Вы, доктор, имели бы дачу на Марсе и не морочили бы голову студентам. А Вы нас приглашаете обратно во времена инквизиции. Дайте нам пожить по-человечески! Двести лет это так мало для цивилизации!

Вы меня извините, конечно, доктор Болученкова, но это безобразие! Все, что я Вам пишу, есть в книгах. Вы просто невежественны и скрыть это хотите своей религиозностью. Дам Вам совет. Если есть у Вас вопросы, то обращайтесь к мировой литературе – там есть ответы на все вопросы.

Сергей ФОФАНОВ



Правнук известного поэта начала XX века Константина Фофанова. Родился в 1954 году в Москве. Женат. В прозу попал через стихотворство – учился обращаться со словом. Захлопывая поэтическую дверь, прищемил развязавшийся на ботинке шнурок, поэтому от поэзии ни на шаг. Печатался в журналах «Край городов» и «Мост». В 2007 году выпустил книжку «Короткая проза».

Рассказы

Небольшая прогулка в обеденный перерыв

Я один в кабинете. Сажусь за столом. Напротив гостевой стул, за ним белая стена. На ней ничего нет, на стене справа от меня висит календарь, а позади меня – фотография; мои гости взгляды на неё бросают, расслабляются, и напряжение из разговора уходит.

Фото попало ко мне случайно. Три года назад наше подразделение сменило адрес; мы переехали в другой район, незнакомый для меня, и первое время я выходил в обеденный перерыв прогуляться: бродил по соседним улицам, разглядывая особнячки, которых ещё не успели обратить в декоративную оболочку офисов, – в общем, удовлетворял своё географическое любопытство.

Как-то завернул в переулок – узкий даже по меркам дореволюционной московской застройки. Кирпичное двухэтажное здание (в своё время, наверное, доходный дом) прижимало его с одной стороны, с другой – теснил особняк – высокий; мне даже пришлось задрать голову, чтобы взглядом дотянуться до крыши.

– Обман зрения, – услышал я из раскрытого окна надо мной и увидел старика. – Переулок узкий, поэтому и кажется, что дом высокий, – пояснил он.

– Понятно, – я хотел двинуться дальше, но старик продолжил:

– Правда, в особняке потолки высокие. И у меня тоже такие, хотя наш дом строили гораздо позже. А сейчас такие потолки вообще не делают. Вот вы зайдите ко мне и сами увидите, какие раньше были потолки.

«Старик сумасшедший, – решил я, – или... одинокий».

Зашёл. Поднялся по лестнице на второй этаж, отыскал указанную квартиру; старик мне отпер дверь и повёл в глубину жилья. Он передвигался с помощью костылей, очень медленно, и выражение его лица всё время искажала гримаса, оттого что каждый шаг давался ему нелегко. Мы добрались до комнаты, потом до окна. Именно у окна, как я понял, инвалид проводил большую часть времени: на широком подоконнике находились тарелка с вареной картошкой, чашка с недопитым чаем; здесь же блестел объективом фотоаппарат, валялись фотографии.

Старик плюхнулся изнеможённо на стул и, отдышавшись, затаил утомительный разговор – на весь мой обеденный перерыв. Подарил на прощание фото, одно из тех,

что валялись у него на подоконнике, – на всех тех снимках было одно и то же: особняк.

Один посетитель меня огорошил недавно:

– А ведь особняка больше нет.

– Как нет? – удивился я.

– А так; его хотели перестроить: внутри всё выломали, только наружные стены оставили; начали рыть котлован, стены туда и рухнули. Теперь ваше фото – история, хотя и не только ваша.

Он достал пачку фотокарточек и разложил веером на столе.

– Вот, узнаете?

Это были снимки старика.

– Откуда же они у вас?

– Оттуда же, откуда, наверное, и у вас. Он к себе зазывал? Фотографии предлагал? Вы взяли? Сколько?

– Одну, больше не предлагал.

– И мне тоже одну каждый раз давал. Вон сколько пришлось ходить.

– А зачем вам столько фотографий?

– Как зачем? – это же настоящие шедевры. Устрою выставку. Вы знаете, что Пирсмани никто за художника не считал, пока его картины в Париже не выставили? А знаете, сколько теперь за его работы дают?

– Не знаю, а что старик думает по этому поводу?

Собеседник вздохнул.

– Умер старик. Захожу на днях – тётка какая-то открыла, родственницей назвалась. Говорит, так и так – умер.

– От чего? – спросил я.

– Наверное, от старости. Или оттого, что особняк погиб, – ведь старик привык его видеть каждый день.

Я вспомнил, как вернулся с прогулки, и стал разглядывать фотографию. Она мне понравилась. Было что-то трогательное в длинных тенях от закатного освещения, делающих портик здания загадочно-рельефным, в паре голубей, стремительно планирующих через пространство кадра, в удивлении на лице ребёнка, следящего из окна за их полетом, в отражении неба в стёклах окон верхних этажей. Вспомнились слова старика: «Из окна я вижу больше, чем вам кажется».

– А мне кажется, ему всегда небо хотелось увидеть, – сказал я.

– Не знаю, может быть, – согласился знаток Пирсмани. – Теперь из его окна такой классный вид на Москву открывается, и простора, простора столько... Так вы у него только раз были? – спросил он.

Тишина

В моём рассказе «Плохая погода» есть такие строчки:

«...А какой там воздух! Правду говорят: пить можно. В поле – с горчинкой прелой соломы, а в лесу – с отваром белых грибов, как будто где-то недалеко припрятан чан с грибным крепчайшим бульоном. Грибы никто не собирает. Наверно, некому. Из-под ног вдруг выскакивает фазан и очумело, как наша курица, начинает метаться, а потом шархнет неожиданно в сторону и затихнет под кустом, фазанья окраска слилась с бурой ржавью сухой листвы. Идёшь по тропинке, а листья, точно картофельные чипсы

во рту, трещат под ногами. Шуршат поодиночке, планируя с макушек деревьев на землю. Шуршат дробно, когда утренний туман обращается в капли и стучит по ним, будто играет на листовом ксилофоне. Все остальные звуки затихают: исполняется соло падающих капель. В городе этого не услышишь никогда...»

Недавно по электронной почте мне пришло письмо, в нём есть ссылка на этот текст. Письмо мне показалось интересным, и я привожу отрывок из него, изменив фамилию автора:

«...Вы красиво пишете о тишине, которой по-настоящему можно насладиться только за городом. В городе машины. Они стоят во дворах и будят по ночам сигнализацией; они гудят на улице в пробках, копят воздух работающими моторами, а когда есть возможность, разгоняются и при этом газуют так, что вся округа гложет. Машины отнимают у людей пространство и тишину. Но я знаю, что есть другая тишина, на которую не может посягнуть городской шум, она не имеет к нему никакого отношения.

Я дизайнер-стилист, работаю в ИМИДЖ-СТУДИИ, созданной мной и носящей моё имя; а в молодости был специалистом по железобетонным конструкциям, трудился в проектно-институте при Министерстве сельского хозяйства. Фермы, прогоны, балки, колонны – вот так, стоя за кульманом, выписывал чертежи животноводческих или птицеводческих комплексов. Но однажды мой интерес обратился к другим конструкциям – причёскам из волос. Да, это тоже конструкции, я открыл это для себя и сразу же начал творить, фантазировать. Я в то время ещё не представлял, что из своего увлечения смогу извлечь практическую выгоду, просто приносил домой красивые иностранные журналы, которые удавалось раздобывать, прикладывая смекалку и необходимые финансовые усилия (таких изданий у нас ещё не водилось), и разглядывал их, не замечая времени, – учился искусству создавать образы «лёгким языком» волос.

Жена ревновала: «Может, тебе одних картинок достаточно, а я тебе и не нужна?» Я только отмахивался и продолжал фантазировать: передо мной мысленно возникали новые замечательные причёски, каких никто ещё не придумывал. Я давал им названия: «Чёрная молния», «Морозный хмель», «Нежный Гольфстрим», «Медовая карусель»...

Как-то, перелистывая глянцевые страницы, заснул с журналом на коленях, и мне приснилось, будто участвую я в школьном кроссе: пылю тяжёлыми кедами по парковой дорожке вместе со всей толпой, а потом неожиданно для себя вдруг сделал рывок и пришёл к финишу первым.

– Нечаев! – зовёт меня наш бодрый седенький физрук. – Далеко не отходи, награждение будет.

И указывает на меня директрисе: вот ему дано...

Утром проснулся, пошёл мыться – слышу: жена на кухне скрежещет ножом по тарелке, вода шумит в мойке, дверца холодильника хлопнула; выхожу из ванной – тишина! Заглянул на кухню – никого, в комнате – тоже никого, – я один в квартире.

Когда мы с женой разошлись, я не стал долго думать: подал на работе заявление «по собственному желанию», – а ещё через две недели уже учился на парикмахера.

С уважением А. П. Нечаев».

Вещи

Чем отличаются вещи от хлама?

Я думаю, что вещи – хоть иногда, – но всё же пускают в дело, употребляют, используют, а хлам почему-то прячут на антресоль. Хоронят! Потом какой-нибудь «кладоискатель», новый хозяин квартиры, вроде меня, начнёт разбираться.

Вот ржавая электроплитка с одним диском (второй исчез, вместо него – дыра), – на помойку!

Рулон заскорузлых обоев, – выбросить!

Женские сапоги со стёсанными каблуками и сломанными молниями, сумки с оторванными ручками, – на помойку, хлам, на помойку!

Ещё коробка из-под обуви, перевязанная бечёвкой (под верёвочным перекрестием листок в клеточку и на нём надпись: «память»). Кто начеркал коричневым грифелем аккуратные букочки и когда? В коробке свёрток – какие-то вязаные лохмотья из красной шерсти, – всё изъедено молью. Чья память? Кому память?

Захаживаю в конторки по ремонту одежды.

– Реставрируете?

– Нет.

– Реставрируете?

Старуха в чёрном штапельном халате взглянула безучастно, – глаза за стеклянными линзами, точно далёкие мёртвые планеты, – сняла очки и, сунув к глазам свёрток, стала разворачивать, осматривать, шевелить губами, будто втягивая время...

– Очень большие потери, – пробормотала, – зайдите через неделю.

Не зашёл, не сумел, явился спустя месяц – наткнулся глазами на вывеску: «Нотариальная контора», – ателье переехало, а куда – никто не знает.

Вернулся домой злой, усталый, плюхнулся на кровать и тут же заснул. Во сне вспомнил про старые лыжи на балконе и подумал, что уж очень давно не катался.

И черкнул лыжами по первому снегу, скользнул вдоль берёз, а когда потянул след по полю, – вдруг оглянулся на прошлое, на бесконечный набег дней, вышел памятью из грустного сражения за умирающую мать, которое вёл ещё недавно, и, словно очнувшись, вспомнил детство – лето, деревню, луг, светлый вечер, знакомство с деревенскими мальчишками...

Уже давно пора спать, но нас не окликают, и мы сидим на траве, устроившись в кружок (наверное, хвастаемся друг перед другом или рассказываем страшные истории), – а в белых прозрачных сумерках выписывают загогулины майские жуки.

Человечек

Чуня, – звали её. Чуня, Чуня, – звучало её имя то на одном садовом участке, то на другом. Чуня – так звали собаку, очень изящную западносибирскую лайку серого окраса, с пушистым хвостом-баранкой, с высокими, стройными, а в лодыжках тонкими лапами, и белыми мохеровыми «штанами» на задках ляжек, с точёной мордочкой и острыми ушками. Чуня, похоже, сама знала о своих внешних достоинствах. Она была настоящей дамочкой, если так можно сказать о собаке. Нервическая, изнеженная лаской и вниманием, осознающая силу своей красоты, Чуня несколько лет кряду держала первое место на городских выставках. Вообще-то Чуня – это речка в Сибири, куда ездил охотиться Олег, сын нашей соседки по даче, Лидии Константиновны. До сезона охоты Чуня и её брат Туман отсиживались на даче, промышляя обходами участков. Им всегда перепадало что-нибудь вкусенькое – баловали их дачники. И мы с мамой тоже.

Мне четырнадцать лет. У мамы отпуск, и мы отдыхаем на даче у тёти. Странный возраст: я только вернулся из пионерского лагеря, где был в самом старшем отряде, и после вечерней линейки – когда для младших отрядов звучал отбой ко сну – ходил в клуб на танцы.

Ах, эта волнующая близость особи противоположного пола, от чего дрожь колотит тело.

– Что же ты ходишь, как на костылях? Дай руку, вот так, держи меня другой рукой за спину. Что ты так дрожишь? Да ты не молчи, ты разговаривай, а то я с тобой танцевать не буду. А тебе Маринка Судакова нравится? – Не-а. – А кто тебе нравится? Да что ты всё дрожишь, скажи: а я тебе нравлюсь?

Вот такие волнения случались по вечерам в клубе пионерского лагеря. А потом отъезд и прощальная песня в автобусе: «Мальчишки, вы мальчишки, жестокие сердца, вы любите словами, а сердцем никогда». И долгожданная встреча с родителями, по которым очень соскучился.

На даче я увлечён собаками: выгуливаю в лесу то Чуню, то Тумана; а ещё у Лидии Константиновны в загончике подрастают щенки Чуни, и мне совершенно не надоедает возиться с ними.

Как мы познакомились, и вообще, как эти две девицы появились на наших участках и втёрлись в доверие Лидии Константиновны, не помню, не важно, но в конце концов выгуливать собак мы стали вместе. Они были старше меня на два года, выглядели уже вполне оформившимися девушками, а не девочками, и ко мне относились, как к мальчику, хотя мой голос уже огрубела басистость. Но всё же, всё же – взаимное притяжение полов соединяло наши беспечные летние отношения, когда мы бродили по лесу или валялись на лугу в сене, или сидели по вечерам на брёвнах, и мама, не выдержав, приходила меня забирать, а я упирался: «Мам, ещё полчаса». «Ещё полчаса», – вторила мне одна. «Честно, честно», – подтверждала другая.

У неё было круглое лицо, и улыбка, всегда готовая округлить его ещё больше – до сияющей луны на ночном небе, – у неё были чёрные, прикольно короткие волосы – иголочками. И такие же, иголочками, ресницы, не скрывающие лучики глаз, когда она смеялась или пела песенку. И песенка, такая лёгкая, светлая, о дождике, который чертит линейку косую, а девушка стоит у окна и рисует чей-то профиль на стекле, потому что уже во дворе осень, и окна запотели. Она выводит пальцем на затуманенном стекле человечка и никак не может вспомнить, как его зовут, и просит заочно у него прощения за то, что больше его не встретит, и просит назвать его имя. Да, только имя просит она назвать человечка, нарисованного на запотевшем стекле.

Лето подошло к концу. Вечера стали совсем тёмными, и мы сидели на брёвнах – никому не видимые – и смотрели на звёзды. А потом закосили дожди, как в песенке; стало холодно и противно, и мы с мамой сбежали в Москву.

В конце сентября я ещё раз оказался на даче и, приехав, сразу помчался на соседский участок. Увидел пустой загончик: щенков уже разобрали их новые хозяева; узнал, что Чуню увёз на охоту Олег. А с Туманом, – сообщила Лидия Константиновна, – гуляет Надя, и если я пойду в сторону леса, то, наверно, встречу её. Так и получилось. Мы столкнулись у калитки, обрадовались, немножко прошлись вдоль участков, потом вышли на то место, где раньше сживали по вечерам, забрались на брёвна и стали рассказывать друг другу о школе, о своих друзьях, об учителях. И ничего такого не было – такого, что заставляло меня раньше выпрашивать у матери ещё хотя бы полчаса. Мы посидели минут десять, и в эти минуты все наши новости уложились. Потом мы ещё немного погуляли, ходили по лесу, но почти не разговаривали, просто гуляли, и всё, как гуляют два друга или два знакомых. Ну да, мы знакомы, но нам что-то уже не очень интересно вместе, ну так, просто гуляем, а потом я уеду в Москву, и Надя уедет в Москву, и, наверно, мы больше не встретимся, хотя, конечно, в мыслях этого нет, и оба мы знаем, почему нам не очень интересно: потому что нет её, чьё имя, спустя много-много лет, я совсем забыл и не могу, как ни силюсь, вспомнить.

Георгий КАЮРОВ



Родился в Запорожье. Член Союза писателей России, член Союза журналистов Украины. Международный мастер спорта по шахматам. Окончил Ленинградский сельхозинститут. Участвовал в экспедициях в Заир. Совершил восхождение на Эльбрус (Северный Кавказ), «Пик Советов», и «Перевал Туристов» (Тянь-Шань), переход через пустыню Кара-Кумы, батрачил у торговца дынями. Впоследствии была написана повесть «Азиатский зигзаг». На плотках сплавлился по рекам Зeya и Мая с последующим переходом к Охотскому морю.

Пока живые

Рассказ

Подходила к концу учебка. Полгода проползли, изматывая морально и физически. На прошлой неделе присвоили звания всему личному составу. Все, кроме Сеницына, получили нашивки сержанта, кому-то повезло – присвоили старшего сержанта. Только Сеницын, укалывая пальцы, сквозь слезы пришивал нашивки младшего сержанта. Командир части так и сказал:

– Присваиваю тебе, Сеницын, младшего сержанта только за то, что в армию сам дошел.

Строй загоготал на всю округу. Даже вороны испуганно сорвались с деревьев у мусорных баков и закружили над плацем, каркая в унисон.

Все полгода над Сеницыным подтрунивали. Ну, не удался он физически крепким. Ничего у него не получалось. Ни подтянуться на турнике, ни пробежать положенную дистанцию. Так и рухнул во всем обмундировании под ноги сослуживцам, а те, пересякаявая, еще и поддавали ему тумаков. Так, не сильно и не зло, а по-девчачьи – легонько, но это самое обидное.

Вот и сейчас, когда Мишка Сеницын сидел на ступеньках и вертел веником, чертя какие-то волны на земле, мимо шла повариха армейской столовой. Она остановилась, с сожалением покачала головой, просто погладила его по голове и пошла себе дальше. У Мишки на глаза накатились слезы, и он тихо заплакал.

В то самое время к воротам части, в которой служил Сеницын, подошла женщина. Ее согбенная фигура не смогла полностью разогнуться даже тогда, когда она опустила сумки на землю. Женщина постояла в нерешительности у ворот КПП, на которых краснели звезды, и, увидев показавшегося из дежурки военного, окликнула его:

– Сынок! А сынок!

Это был молоденький лейтенант Литовкин. Он недавно пришел из училища и выглядел как мальчик. Даже солдаты посматривали на него с иронией. В лейтенанте для солдат было единственно грозным – его офицерские погоны. Литовкину не хотелось оборачиваться на «сынка». Он даже покраснел от неловкости, которую усилил вышедший следом дежурный солдат и на «сынка» ехидно покосился. Лейтенант поправил ремень, лихо заправив все складки назад, и все-таки повернулся к женщине.

– Слушаю вас, – собрав все мужественные нотки своего голоса, произнес Литовкин.

Мать вспомнила их нового участкового, который по утрам вышагивал по селу – такой же, со звездочками на погонах, вспомнила, как строго и деловито разговаривал он с сельчанами, как зорко осматривал дворы и утварь, и испугалась своих слов: «А вдруг это и есть Мишкин командир?». И сразу же поспешила поправиться:

– Вы меня извините, если что не так, я к Сеницыну. Мама его.

– Проходите. Сейчас позову, – опередив лейтенанта, улыбнулся дежурный солдат. Мать перекинула ляжки тяжелых сумок через плечо и, сторонкой обходя военного со звездочками, поспешила за солдатиком, который скрылся в КПП. У порога женщина остановилась, тщательно обтрусив ноги, и вошла в темный коридор.

– Примика, сынок, а то сил не осталось, – обратилась она к солдату, который уже освободился и разглядывал мать Сеницына.

– Сюда заходите, – солдат лихо подхватил сумки и указал на другую дверь, ведущую из коридорчика.

– У вас тут чисто, – удовлетворенно заметила женщина, рассматривая небольшую, светлую комнату со связкой деревянных кресел и обычным диваном.

– Это у нас комната для гостей, для родителей, – пояснил солдат, расположив сумки на кресла. – Здесь подождите. Сейчас придет Мишка.

– Сейчас уже и придет? – всполошилась женщина. – Надо же! – но она тут же успокоилась и, взяв солдата за руку и глядя ему в глаза, спросила: – Как он тут?

– Нормально, – ответил солдат, но его смутил взгляд матери Сеницына, и он тихо добавил: – Как все – служит.

– Ну да, служит, – спокойно согласилась женщина и как-то тяжело села на краешек дивана.

– Вы не волнуйтесь, – солдат прикоснулся к плечу женщины и почувствовал легкую дрожь в ее теле. Женщина тряслась от внезапного волнения. – Вы не переживайте. Он служит хорошо. Вот недавно звание получил. Скоро распределят нас в часть, – солдат что-то еще говорил, но женщина не слушала его. Ее мысли витали где-то там, далеко в казарме, откуда должен прийти ее Мишка.

– У-у-у, вон как наследила, – неожиданно спохватившись, женщина стала осматривать пол вокруг себя.

Она резко поднялась и, едва дежурный успел понять, подошла к половой тряпке, постеленной у входа в КПП, и принялась протирать обувь ее краешком.

– Что вы, зачем? – растерялся солдат. – Не надо. Мы убираем. У нас есть дежурство, и мы по очереди... – то ли сам солдат осекся, то ли оборвала его женщина своим вопросом.

– Мишка тоже убирает? – также неожиданно прервав свое занятие, поинтересовалась женщина.

– Тоже, – как можно спокойней согласился солдат, но отвел взгляд. Он знал, что ее Мишка больше всех убирает. Чего греха таить, в основном он и убирает. Все навешивают на Сеницына дежурство – и по справедливости и нет! Но женщина не заметила смущения молоденького солдата-дежурного. Она еще сильнее засуетилась:

– Неси ведро, тряпку, я тут быстренько уберу.

– Нет, нет, что вы. Не положено, – замылся солдат. – Вам только отдыхать в этой комнате можно, – от усиливающегося стыда солдат ушел, бросив на прощание: – Ждите. Сейчас Мишка придет, а мне на пост надо.

Часть, где служил ее Мишка, была сравнительно недалеко от их села – всего каких-то триста километров. Но добраться до нее было не так-то просто. До трассы идти километров двенадцать, потом надо попутку поймать. Повезет – так до самого города доедешь, а обычно – куда довезут, а потом опять ловишь попутку. В городе

скупись и потом от города еще восемь километров через лес. Это пешком надо идти. Ездят только военные машины, но они не подбирают – запрещено.

Раньше поездка в город как-то весело проходила. Кто-то из колхозных мужиков на тракторе или на бригадной машине подкинет до трассы. Подождешь рейсовый автобус, он тогда по расписанию ходил. Опаздывал, но обязательно приходил. Ругали его за такое расписание на чем свет стоит, но не опаздывали, спешили к назначенному часу. А главное, моложе была Нинка Сеницына.

Из колхоза ушла. Уже сил не было. Все жилы вытянул колхоз из Нинки. Вот теперь работает санитаркой в сельском медпункте. Медпункт на ней и держится. Фельдшер заезжает раз в неделю, а то и в две, а все остальное время бабка Сеницына и фельдшер, и медсестра, и санитарка. Все бегут к ней лечиться, роды принять, а то и просто поболтать. Все легче болячки переносить. Проводив в армию младшенького Мишку, бабка Сеницына и вовсе перебралась жить в медпункт. Домой ходит только проводить. После смерти мужа хозяйства нет. Без детей и внуков сиротливо в пяти комнатах. Вот и решила – помру от скуки и не дожусь Мишки. А люди как зовут, так сначала бежишь в медпункт. Так чего бегать туда-сюда? Вот она и поселилась в медпункте. Много ли бабке надо?

Соскучившись по сыну, устав от домашнего одиночества и больных сельчан, отработала три дня подряд и собралась к сыну. Мишка самый младший. Хиленький родился. Даже и не поверила, когда это произошло – Нинке было уже под сорок пять...

Наконец-то пришел Мишка с товарищем. Она шагнула к сыну.

– Не надо, мам, – легонько отстранил мать Мишка, покаясь на товарища. А мать никак не могла наглядеться на сына, нарадоваться и все норовила снова поцеловать, приголубить, прильнуть его плешивую голову к груди.

– Не надо, мам, – повторял Мишка, стыдясь взглядов товарищей.

– А чего ж не надо. Полгода не виделись. Ты даже карточку не прислал. Сонькин далеко служит и то прислал. А ты не мог, что ли? Да ты садись. Я тут тебе домашненького привезла. И курочка, и пирожки твои любимые. Вместе садитесь. Товарища то как зовут? – радовалась мать.

– Да ладно, мам, чего тут раскладываешься?

– Так можно, дежурный сказал – комната для гостей, а я и есть гость, – улыбалась разомлевшая от счастья женщина. – Только садись напротив. Чтобы я на тебя смотреть могла. Ага, вот так. Что-то ты похудел, Мишаня, – не утихала она. – Служба поди нелегкая. Ну, ничего. Чего делали сегодня? Стреляли, небось?

– Скажем – не поверите, – улыбнулся Мишкин товарищ. – Полы драили.

– Так, может, помогу? Я мигом помою. Пока вы кушаете. А?

Сын в который раз покраснел. Его смущали и мамина плюшевая тужурка, и старенькие сапоги, и старомодный черный платок с красными цветами, и её суетливая речь.

– Мама, ну что ты. Перестань, – сердито сказал он.

– А чего? Я быстро. Привычная. Сколько в медпункте передела. И ни одного замечания. А у нашей бабки Мелании полгода вымывала полы во всем доме.

– Мама! – Мишка стыдился материнской болтовни.

– Ну, ладно, ладно, не буду. Отслужишь – будет тебе на мотоцикл, – перешла мать на другую тему. – Давно ведь хотел. Отец твой, когда жив был, все мечтал: «Вырастет Мишка – мотоцикл ему куплю».

– Ленка тебе пишет? Хорошая девчонка. Веселая, обходительная. Все спрашивала, не приедешь ли в отпуск. Оно и понятно – соскучилась, – понимающе улыбнулась мать. А Мишка все краснел и сердился.

– Мишаня, а в город тебя не отпустят?

– Нет, – буркнул он, вытирая засаленные руки обрывком газеты.

– Я сейчас, – мать вышла из комнаты. Вернулась раскрасневшаяся.

– Не отпускает. Я уж с ним и так и этак. Не хочет. Гостинец предлагала. Рассердился.

– Чего?! – Мишка побагровел от злости. – Езжай-ка ты, мать, домой. Срамишь только. Потом надо мной до конца службы смеяться будут. Кто тебя просил? Езжай, езжай. Какая ты... – Мишка не договорил, стал заворачивать остатки еды в газету. – Деревенщина, – добавил он и взглянул на часы: – У нас скоро построение.

– Да уж какая есть, – тихо ответила мать. – Хотела как лучше... Ведь полгода не виделись.

– Да уж лучше не приезжала бы, чем так.

– Прости меня, глупую. – Она протянула сверток. – Вот возьми еще, товарищей угостишь, – и, обессилев, ткнулась в сыновью гимнастерку, заплакала горькими материнскими слезами. Мишка хотел отстраниться, но мать прихватила рукой и целовала, целовала гимнастерку.

– Все, мама, все, ну, все. Попрощались, – Мишка стоял, как рак красный.

– Ну, до свидания, сынок. Пиши, не забывай.

Мать вышла и, виновато улыбаясь всем, долго оглядывалась на чернеющий коридор КПП. Ей не хотелось уходить. Когда Мишка дошел до казармы, его догнал дежурный:

– Держи. Лейтенант выбил у командира! – И сунул ему в руки увольнительную.

– Не пойду, – сказал Мишка товарищу. – Холодно, сыро. Лучше в воскресенье. А то с матерью в городе смеху не оберешься. Я год назад с ней... – он не успел договорить.

– Гад ты, и больше никто, – бросил ему товарищ и побежал на пост.

Больше Мишка не видел матери. Нашли селяне бабку Нину, мирно почивавшую на кушетке в медпункте. Она так и застыла, как положено покойнице – сложив руки на груди, словно извиняясь перед всеми за прожитую жизнь. Телеграмма пришла, когда Мишку уже распределили в другую часть, а пока ее переслали, похоронили...

Часто вспоминается Мишке мамкин приезд, ее певучий говор, красные от холода, натруженные руки, изрезанное морщинами лицо. И каждый раз он выходит на крыльцо, долго и жадно курит, краснея от этих воспоминаний; когда же вспомнится мать после отбоя, то долго не может уснуть.

Николай КОСТЫРКИН



Родился 20 ноября 1985 года в Кишиневе. Образование высшее (МолдГУ, факультет журналистики и массовых коммуникаций). Литературные публикации: альманах «Лицей», журнал «Welcome», газета «Пульс». Лауреат республиканских поэтических конкурсов. Увлечения: история, мифология. Пишет стихи и прозу в жанре мистики и квазимифологии. Своими литературными «наставниками» считает Г. Л. Олди (Олега Ладыженского и Дмитрия Громова).

*Памяти моего отца,
майора Советской Армии, воина-интернационалиста
Анатолия Николаевича Костыркина посвящаю*

Пёс из Махи

Действующие лица

Айлиль – риг¹ коннахтов², муж Медб.

Айндле и Ардан – братья Найси, сына Уснеха.

Айфе – одна из предводительниц воинов Страны Теней³, родившая от Кухулина ребенка.

Амаргин – филид⁴ уладской Рощи⁵, отец Конала Кернаха.

Брикрен – уладский воин.

Дейрдре (Дехтире)⁶ – мать Кухулина.

Дейрдре, дочь Федельмида – неудавшаяся невеста рига Конхобара.

Домнал – наставник в Стране Теней.

Дорнола – дочь Домнала.

Ибар, сын Риангабара – первый возница Кухулина, брат Лойга.

Катбад – верховный друид уладской Рощи, отец Конхобара и Дейрдре.

Кет, сын Матаха – коннахтский воин.

Конал Кернах – воин из уладов⁷, друг Кухулина.

Конхобар МакНесс – риг уладов.

Кормак Конд Лонгас (Кормак-с-Изгнанниками) – соратник Фергуса.

Крунху, сын Ангомана – смертный муж Махи.

Кулан – кузнец, живущий на территории уладов, предполагается, что он – воплощение Ди-Кузнеца Гоибниу.

Курой, сын Даре – риг-друид дальних муманов⁸.

Кухулин (настоящее имя – Сетанта) – полу-Ди, воин, которому ни до, ни после него равных в Эрине⁹ не было.

Леборхам – бан-фили¹⁰ из уладской Рощи, наставница Кухулина.

Лойг, сын Риангабара – возница Кухулина.

Медб – риганн¹¹ коннахтов.

Менд, Кускрайд, Мунремур, Кельтхар – уладские воины.

Месройда МакДато – риг ближних лагенов¹².

Мог Руитх (Властитель Колеса) – Верховный друид коннахтской Рощи.

Найси, сын Уснеха – возлюбленный Дейрдре дочери Федельмида.

Несс – риганн уладов, мать Конхобара и Дейрдре.

Ниама – жена Конала Кернаха.
 Скатах – одна из предводительниц воинов Страны Теней.
 Суалтам, сын Ройга – муж Дейдрре, вождь туата¹³ Муиртемне.
 Уатах – дочь Скатах.
 Фергус, сын Ройга – брат Суалтама.
 Ферхертне – оллам¹⁴ уладской Роши.
 Финдхоэм – сестра Катбада.
 Форгал – туата-риг¹⁵ Брега.
 Эйтне – любовница Кухулина.
 Эмер, дочь Форгала – жена Кухулина.
 Эохайд Салбуйд – риг уладов, отец Несс.
 Эохайд Фейдлех – ард-риг¹⁶ Эрина, отец Медб.

От автора

**Мама, я не Кухулин,
 Я не отпрыск бога солнца,
 Я привык не быть один
 И не выпивал колодца
 Без существенных причин.
 Нравом я всегда спокоен,
 Но, бывает, горячусь.
 Я не мылся в водах Бойны,
 Редко, если перед воином
 На дороге окажусь.
 Я не странствую годами
 Средь лесов и под холмами,
 Я люблю очаг и дом,
 Дружбу не вожу с вожжами
 И всегда доволен сном.
 Я не корчу физий грозных
 Перед битвой в час лихой.
 Я при стонущих морозах
 За калитку ни ногой.
 И Га-болга¹⁷ не метаю
 Под водой ноги толчком,
 И никак не насчитаю
 Во глазах по семь зрачков.
 Не стою одной ногою
 Я на острие копья
 И не лезу с головою
 В драку, жизнь свою губя.
 Я не езжу в Эмайн-Маху,
 Тёмно-красная рубаха
 Не бывает мне к лицу.
 Я не слишком осторожен
 В выборе меча и ножен,
 Но уж если подлецу
 Меч достанется хороший,
 Жизнь того придёт к концу.
 Я не ссорюсь с Конхобаром,**

**Я в семь лет был славным малым,
 Но берёгся острой стали
 И над книжками корпел,
 И меня не привлекали
 Наконечники у стрел.
 Я в семнадцать не женился,
 Но лишь в первый раз влюбился,
 В двадцать семь конца не жду.
 Жизнь моя худую мзду
 Не берёт за безразличие
 К мыслям близких мне людей.
 Скромность я считал приличьем
 И боялся быть умней.
 Я не бью ворчливых псов,
 Не служу подобно оным,
 Даже если был готов
 Стать заложником урона.
 Мама, я не Кухулин,
 Я болезнен, как другие,
 Я не самый лучший сын –
 Если есть ещё такие.
 Я не бьюсь один за всех,
 Предпочту аскезе смех
 И всегда узнаю сына,
 Даже если много лет
 Мы не встретимся в помине.
 Мама, я несу свой бред
 В обездоленные массы
 Без отлучки на обед,
 И считаю, не напрасно.
 Мама, я не Кухулин,
 Я есть комом первый блин,
 Сытый вдоволь наговором
 Нагулявших причин.
 После искреннего спора
 Остаюсь всегда один
 И плету судьбы узоры...
 Мама, как мне быть другим?**

Предисловие

...песнь о мыслях Вселенной, поющая старейшим воином в роду на Ман Саури¹⁸ в час захода Солнца ...

Если у вас созрела мысль жениться на красивой девушке из знатного фина¹⁹, а сами вы бедны и нет за душой ни кумала, ступайте на остров Фалга-Мон²⁰ и найдите там Мидира, сына Дагды. Спросите его, что делать. Ибо Мидир знает толк в таких вопросах. Тогда встанет мудрый Мидир, посмотрит на вас печально-карими глазами и, глубоко вздохнув, предложит учиться друидической науке: семь лет в ранге файта²¹, ещё семь лет в ранге барда²² и ещё семь лет в ранге друида²³. Только тогда вы научитесь творить чары для отвода глаз обычным людям и другим не менее могущественным вещам. Но по окончании обучения вряд ли вы уже посмотрите на эту красивую девушку из знатной семьи, к которой хотели свататься: настоящие друиды, искушённые в тайных знаниях, глядят на мир и на людей совсем по-другому.

Идите... Если ещё вам повезёт и Мидир ещё захочет, чтобы вы его нашли.

Нет такого желания? Очень правильно. Ибо знания радости не приносят, а человек, стремящийся жить в своё удовольствие, не должен за ними гнаться. Каждый принимает свой закон и живёт по нему, по нему и умирает, по нему и возрождается вновь.

Если вас вдруг потянет в дальние странствия и вы решитесь оставить земли родного септа, тогда найдите – если сумеете – рига-морехода Брана сына Фебала и попроситесь на борт его кураха²⁴ простым гребцом. Отважный Бран не сможет предложить вам ничего, кроме места на скамье у самого борта, весла в руках да куска толстой кожи длиной и шириной в размах рук, хоть как-то защищающей от происков коварно-неистового Лира, Морского Владыки. Ибо сам мореход довольствуется не большим и не стремится к удобствам в открытом море: он идёт на зов, известный лишь ему одному – зов того, что не видели другие люди: других морей, других земель, других небес...

Достойным же приёмом для вас в родной земле будет полное забвение вашего имени. И если попытаетесь вступить на песок отцов ваших, тотчас превратитесь в прах трупный. Ибо тот, кто вышел с Браном в открытое море, уже стал призраком.

Думайте, решать всё равно вам. Но знайте: неведомое постигается ценой самого дорогого в жизни. Это правило стоит выше любого закона.

Если у вас не осталось памяти о далёких – словно недоступный взору смертного берег земли Хай Брезал²⁵ – годах беспечного детства, когда любое желание могло превратиться в реальность, но никто этого ни разу не замечал...

Если у вас не осталось памяти...

Идите от престольного града Темры²⁶ на северо-восток, к воинственным уладам и достигните города Эмайн-Маха, где правит Конхобар, сын Несс. Найдите там верховного друида Катбада и спросите его, что с этим делать.

Тогда встанет могучий друид-воин Катбад и споёт вам *теимн лаэгда*²⁷, дабы узнали вы год и день собственной кончины. Ибо негоже человеку, непомнящему годов беспечного детства, более жить на этом свете, не ведая время грядущей ему смерти.

Ну, как, решитесь?

И не надо. Ибо не споёт вам Катбад теимн лаэгда. Никогда не споёт. Потому что эту песнь поют лишь мудрые филиды-сказители – самим себе поют.

Ибо знает Катбад год и день собственной кончины и не желает такого знания никому из смертных.

* * *

Священная мгла,
 Ты тихо жалишь в ночи,
 Твое единенье от мира весьма велико,
 Когда ты отступишь,
 Я буду уже далеко,
 Меня не ищи,
 Никогда, никогда не ищи.

Священная мгла,
 Ты несешь отличительный жар,
 Твое целомудрие манит меня от других.
 Я мертвых недавно познал,
 Я познаю живых,
 А ты не ходи,
 Ты не следуй за мной, будто встарь.

Ты будешь моей,
 Я ж не буду твоим никогда.
 Мое красноречье под нож подводит людей.
 Священная мгла, ты не дашь никому и двух дней,
 А мне все равно: я ушел,
 Я ушел навсегда...

...ритуальная песнь друида, обращённая к одному или нескольким Ди во время жертвоприношения...

Жертвенный костёр отливал слепившим глаза благоговением. От костра шёл пряный аромат стеблей ромашки. Жаркие языки пламени то с притворной смелостью, подобно бродячим собакам, бросались на невозмутимую фигуру в белом одеянии, которая, казалось, их и не замечала, то, поджав хвосты, скулили и жались назад, словно боясь удара ногой под рёбра. То становились смиренными и навязчиво ластились к ногам, то угрожающе подымались на дыбы, открывая взору фигуры всю свою мощь.

Не пламя – Дикая Охота!

Человек в белом одеянии видел это не в первый раз. Он продолжал без движения стоять посреди древнего кромлеха, лицом на восток.

Ночь...

Странное сочетание символов в обряде: когда лицом на восток – значит, творишь на Свет, на созидание. Но кто, даже в нынешнее время раздоров и междоусобиц, будет ни с того ни с сего творить на Свет ночью?! Да ещё призывая сам Длиннорукий Свет!

Спросить об этом фигуру в белом одеянии? Высшим друидам – одежды цвета зимнего поля носят лишь высшие – не до замечаний со стороны... да к тому же, кто отважится на почти что святотатство!? Высшие друиды для того и прошли все ступени становления и изучили все постулаты и законы древней науки, чтобы умело сочетать все необходимое для достижения цели. Ведь и Торах, остров-крепость Одноглазого Балора перешагнуть никто из Ди – уже молчим о смертных – не может. А обойти на лодке – каждый дурак. Если, конечно, путь туда известен...

Да и попадёт любому после такого вопроса: и от друида, и от Длиннорукого Света. Гораздо сильнее и ощутимей, чем, скажем, от пьяных фоморов, да не к ночи будут упомянуты.

...Жарко горит костёр, весело! Для Длиннорукого Света он всегда горит весело, что днём, что ночью. Правда, Свет не очень любит ночные жертвы, но для дела... К тому же некоторые высшие друиды могли позволить себе на некоторое время превращать ночь в день и наоборот, но лишь в течение одного месяца – Месяца Оленя, Времени Исков, то есть пятнадцать дней до Лугнасада²⁸ и пятнадцать дней после.

Если в этом, конечно же, есть необходимость.

В этот раз необходимость действительно была: это понимал и друид, и Ди, которому тот приносил жертву и возносил молитву. Первый в преддверии разговора получал знак от второго: лёгкое свечение, переплетённое блестящими ломаными линиями, возносилось прямым колоссом вверх от костра в небо, слегка задевая гранью своей фигуру в белом одеянии, принявшуюся мерно раскачиваться из стороны в сторону. Фигура воздела руки горе, отступила на шаг от костра, опустила руки, уселась на землю, скрестив под собой ноги, и склонилась в глубоком, почтительном поклоне.

– Ты уже третий раз подряд приходишь ко мне с этой просьбой, – было сказано из воздуха. Слышал ли эти слова друид, нам то неизвестно. – Не надоело? Одного не могу понять, зачем вам это всё нужно? Хорошо, допустим, могучий воин вам действительно необходим – не ровен час, коннахты всех вас за один доблестный набег завоюют. Но почему именно полу-Ди и именно от меня? Ах, да, совсем забыл: вы же до сих пор считаете, что один я привёл Туатха Де Дананн к победе над фоморами? Ладно, всем свойственно заблуждаться, тем более людям – им будто бы сама Великая велела...

Ты умный друид, Катбад, дело своё знаешь. Поэтому и держишь меня подолгу, поэтому и кормишь помногу. Знаешь, борода, что твои заслуги не позволят Ди отказать. Отказ – это обида, а обида эта волну за волной бурю поднимет, не ровен час и



до самой Великой слух дойдёт. И это ты тоже знаешь, поэтому и ждешь нужного тебе ответа, не смотря ни на что.

А не прогадаешь, а, Катбад? Непустишь ли своим поступком всех уладов фоморам в пасть? Мне же долго думать не надо: одна ночь – и готовое дитя, а вот вам всем потом с этим жить, коли чего не доглядите, не поймете. Или думаешь, что всё обойдётся? Я тоже когда-то так думал...

Хорошо, будет вам воин. Мой сын. Доволен?

...Человек в белом одеянии не спеша поднялся с земли, снова учтиво поклонился на огонь, сделал несколько движений руками, и костёр начал стремительно затухать. Человек ещё раз поклонился – не костру, месту – и вышел из каменного круга.

Глава I

Мысли вслух

...устная заповедь друидам–наставникам знатных отпрысков...

Терпеть не могу эту овсяную кашу! Мама кормит ею каждое утро, скоро эта гадость мне уже снится будет.

– Ну, давай, сынок: за маму, за папу... вот молодец!.. за дядю Конхобара, за дедушку Катбада, за дядю Фергуса, папиного брата, за тётю Леборхам...

– Она мне не родная тётя! – пробивалось наружу через овсяную массу. Больше всего её было полно за щеками, потому что я сто раз думал, прежде чем проглотить очередную ложку, пытаюсь разговорами хоть на пару мгновений отсрочить следующую. – Тётя Леборхам мне не нравится: она меня стихи заставляет учить...

Тётя Леборхам строго зыркнула на меня, встала из-за стола, подошла и отвесила подзатыльник. Вся овсянка, которая была за щеками, перебралась дальше вниз. В желудок.

– Учись уважать своих наставников, Сетанта, – она никогда не злилась, просто говорила очень строго.

А потом сказала маме:

– Ты знаешь, Дейдрре, как он назвал меня вчера при мальчишках?

– Что ещё сказал этот него...? Сетанта, не болтай ногами!

– «Училка». Он назвал меня «училкой»! И эти сорванцы, такие же, как он, втихара надо мной посмеивались, – у тётю Леборхам работа была такая – постоянно ябедничать маме и учить меня всякой ерунде. Ну, чем не «училка»?!

– Вот как?! – мама в отличие от тётю Леборхам всегда расстраивалась, если я что-то делал не так. – Ах ты, негодник! Жуй, не чавкай, я потом с тобой поговорю. Это всё твоё воспитание, Суалтам! – теперь она начала пилить папу (нет, не со зла, конечно: тоже... работа такая). – Вечно ты его на улицу отправляешь, вечно тебе не до него. Нет чтобы взять сына на смотр или, например, на охоту. Сетанта, заметь, растёт не по годам. Четыре зимы, а уже пешком под стол ходит. Гости заезжие все семь зим ему дают...

Папа, как всегда, выскреб всю тарелку, ещё и добавки попросил. Я бы тоже попросил, если бы баранину с репой дали, а так овсянка...

– Не доставай с утра пораньше, – сказал он маме. Папа всегда находил, что ответить, и очень редко повышал голос. – Мальчику, тем более что он у нас быстро растёт, нужно самоутверждаться среди сверстников. А излишнее женское влияние – это я не

про вас, Леборхам, – ему не нужно. Погляди: он ещё ложку самостоятельно держать не научился – вечно ты сама его кормишь.

– Зато он прекрасно держит в руках булжники размеров с твою голову, – это опять мама. – Мне вчера чуть ли не половина Айрдига жаловалась, что наш сын других детей едва не покалечил.

– Они меня фомором обзывали, – для того, чтобы сказать, мне снова пришлось проглотить очередную порцию овсянки. – Они говорят, что я большой и страшный.

– А на тётю Леборхам обзываться, значит, можно? – строго спросил папа.

– Тётя Леборхам большая, ей не страшно. Пусть бы тоже меня обозвала в ответ.

– Вот и ты их обзови и не кидайся. На дураков обращать внимания не стоит.

Я не мог понять, как это можно не обращать внимания, когда тебя обзывают, да ещё так обидно?! Но папе перечить не стал.

– Сетанта, сегодня же ты пойдёшь к этим детям и их родителям и извинишься, – сказала мама.

– Не пойду, – с мамой я не стеснялся спорить.

– Это что ещё за такие разговоры с матерью?! Пойдёшь, и никаких «нет»!

– А я сказал, не пойду! – слёзы от обиды подкатили к самому горлу, мешая проглотить оставшуюся за щеками овсянку.

– Ах, так!.. Тогда будешь стоять в углу до самого вечера.

Надо было действовать, и как можно скорее. Я мигом нырнул под стол, и мама не успела «ох» сказать, как я был уже на пороге. Прожевал на ходу овсянку.

– Не пойду! – и побежал вниз по склону. Пронёсся по городу и выбежал за ворота.

– Сетанта-фомор! Сетанта-фомор! – кричал вслед кто-то из соседских. Да ну их всех!

Я и не заметил, как очутился в лесу. Сел на траву, на склоне холма, поджал колени к подбородку. Мне было обидно: почему мама хотела, чтобы я извинился за то, что меня обзывали – это же несправедливо! Несправедливо делать то, чего делать не должен. Дураки они все! И эта мелюзга соседская – хоть и одногодки, а всё равно мелюзга – и мама с папой, и тётка Леборхам. Замучила вконец своими стихами! Иногда удаётся убежать от неё и тишком прокрасться к воинам, сидящим на стене дуна, послушать их разговоры и песни. Хорошие у них песни. Мне особенно нравятся вот эти:

На Самайн²⁹ фоморов прёт –
Здравствуй, счастье, Новый год!

Не вешать нос, ведь мы улады,
Дурна ли жизнь иль хороша...

Или вот ещё:

А мы по локоть закатаем, закатаем рукава,
И всех коннахтов раскатаем, раскатаем на дрова...

А эту песню я пока ещё не понимаю, но поют её как-то по-особенному:

Не стоит прогибаться под изменчивый гейс³⁰,
Пусть лучше он прогнётся под нас...

Есть ещё одна песня про сурового Морского Ди:

Куда бы не уплыл курах,
От Лира не уплыть ему...

А эта у меня самая любимая:

Пора-пора-порадуемся мёртвому врагу!..

А все эти занудные стихи... Скучота! Мне на её, тётя Леборхам, уроках всегда спать хочется. А сейчас, без неё, не хочется. Здесь, в лесу, хорошо. Правда, некоторые уроки тоже здесь проходят, но это бывает редко, потому что тётя Леборхам говорит, что я в лесу отвлекаюсь. И ничего я не отвлекаюсь, просто хочется смотреть на все вокруг.

И почему люди строят эти дуны, живут друг у друга под носом, когда можно жить прямо в лесу. Мне, например, деревья нравятся больше этих противных мальчишек и девчонок. Вся эта мелюзга – дураки!

– Дураки! – это я вслух сказал.

– Все дураки? – я повернулся и увидел тётю Леборхам, которая шла ко мне.

– А почему я тебя не слышал? – снова убежать мне было лень.

– Потому что я не топаю, как телёнок вроде тебя, а хожу тихо. А от твоих ног, маленький Сетанта, по всему Айрдигу пыль столбом, наверное, до сих пор стоит.

«Телёнок» – это не так уж и обидно, во всяком случае, не так, как «фомор», и тётя Леборхам произнесла это так, что и обижаться не хотелось.

– А сколько я здесь сижу?

– Долго. Давай посидим вместе, – неожиданно сказала она, и я аж крикнул от удивления.

– Ну... давай. Если тебе со мной интересно. Только пусть сегодня без стихов.

– Не стихов, а скел³¹.

– Хорошо, без скел. Идет?

– Нет. Во всяком случае, одно из них я тебе сейчас расскажу.

– Ну вот, опять!..

– Не спеши возмущаться: я буду говорить своими словами, и ты всё быстро поймёшь.

Тётя Леборхам села рядом со мной.

– Итак, слушай. Весёлый Ди Дагда любил – а может быть, и сейчас любит – овсяную кашу.

Со свининой.

При словах «овсяная каша» я весь скривился.

– Ты же сказала, что мне понравится!

– Не перебивай. Слушай дальше: и вот однажды фоморы, прознав об этом, решили зло подшутить над Дагдой. Когда весёлый Ди гостил у них, фоморы вырыли огромную, глубокую яму, налили туда овсянки с во-от такими ломтями свинины. И сказали Дагде, что пока он все это не съест, они его домой не отпустят. Дагда мог одним взмахом своей могучей палицы уложить всех фоморов до единого, однако решил шуткой ответить на шутку. Усмехнулся весёлый Дагда в бороду и давай на овсянку налегать, ложку за ложкой. И не успели фоморы глазом моргнуть, как съел Дагда всю кашу, что была в яме, до последней капли. Ложку облизал, пальцы вытер да и пошёл к себе домой, хохоча на всю округу, и тяжёлая палица его оставляла следом глубокую борозду в земле. Ну, вот и всё.

– Тётя Леборхам, а Дагда такой сильный, потому что овсянку любит?

– Конечно! Я очень рада, что ты всё правильно понял.

Но сразу же закралось подозрение:

– А не обманываешь?

– Слово «училки»! – засмеялась она.

– Тогда и мне нужно её кушать, овсянку-то. Я ведь тоже хочу стать сильным, таким, как Дагда. По-другому же нельзя?

– Нельзя, – серьёзно сказала наставница.

– Ладно, буду есть я вашу овсянку. Только по-настоящему, со свининой.

– Будет тебе и со свининой.

– Спасибо, тётя Леборхам, – и я крепко прижался к своей наставнице. – Ты, оказывается, очень хорошая, ты хочешь, чтобы я стал сильным. Я больше никогда не буду называть тебя «училкой». Обещаю!

– Договорились, маленький негодник, – тётя Леборхам тоже меня обняла. – Я тебе хоть и не родная тётка, но, уж поверь, многие и за родными так не ходят, как я за тобой. Ну что ж, за то, что ты меня так любишь, я, так уж и быть, поговорю с папой, чтобы он на следующее семиночье взял тебя на смотр.

– Правда, поговоришь?

– А я тебя когда-нибудь обманывала?

– Да я... да ты, тётя, просто... – и я чмокнул наставницу в морщинистую щёку и припустил по лесу, пугая лесных обитателей диким, почти щенячьим визгом.

Позади довольно смеялась тётя Леборхам.

Дейдрре, дочь Несс из дома уладских ригов

...печальная скела о сватовстве, которое может закончиться всем и ничем, а может и вообще не закончиться.

Колесницы приблизились к опушке священной рощи, и возница Конхобара резко натянул поводья, понуждая пару гнедых коней остановиться. Не успевшие ещё устать, молодые игривые скакуны разочарованно зафыркали, захлопали ушами. За колесницей рига натянули поводья другие возницы, кто полусуется, а кто нарочито требовательно окрикивая своих четвероногих.

Дейдрре, сестра рига уладов Конхобара, сокрушённо покачала головой. Останавливать колесничных коней искусство гораздо более сложное, нежели управлять ими в пути. Это было известно ей не понаслышке. Три года, целых три года она сама была возницей своего брата, и кони рига под её руками, дико срываясь с места, в неистовом ржании неслись без усталости десятки копеечных бросков, молотя копытами склоны холма Эмайн–Махи. Затем они становились как вкопанные в ожидании нового забега, а счастливая Дейдрре оборачивалась назад, с ехидцей взирая на лихорадочно переводящего дух Конхобара, который дрожащими руками поспешно оправлял волосы и вытирал рукавом осевшую на лице пыль. На досках колесницы стояла чаша, до краёв наполненная водой, и ни одной капли из неё не было пролито. В этом каждый раз убеждались все: и брат, и кашлявшие от попадавшей в нос пыли возницы, и воины, приходившие к финальной черте гораздо позже риговой колесницы, и многочисленные зрители, наблюдавшие за соревнованием со стен Эмайн–Махи.

– Ну, девка, ну, девка! – умиленно, с искоркой белой зависти ворчали старые возницы, ни один раз получавшие почётное звание «хозяин равнин». – Сущий ветер, а не девка!

– Угровишь в один прекрасный день и себя и брата! – шикал на Дейдрре её отец, верховный друид уладов Катбад. И украдкой совал ей в руку очередной оберег. – Не напасешься их на тебя: каждый раз теряешь!

Отцовы обереги были тёплыми, но не грели.

Долго ещё Дейдрре не придётся брать в руки вожжи. Может быть, больше никогда не придётся: кто знает, оценит ли будущий муж её способности, которыми Ди одаривают далеко не каждого мужчину.

«Замуж, – думала Дейдрре, сходя с колесницы, опираясь на поданную братом руку.

– Замуж за человека, которого видела в глаза всего один раз, да и то мельком.

– Ещё один завистливый взгляд на гордую осанку нового конхобарова возницы. – Месяцев семь – и рожать пора, а там пока на ноги поставлю, воспитаю – глядишь, и стара буду за вожжи браться. А если и не стара – пустит ли Суалтам из Айрдига свою ненаглядную жёнушку к коням, не побоится ли за её бесценное здоровье?.. Родится сын – научу колесницу водить, обязательно научу; родится дочь – тем более. Ох, если бы отец – тот слов на ветер не бросает – не пригрозил («Не пойдёшь за Суалтама, сына Ройга, спую гламдицин^{32!}»), тогда бы... Противно!»

Последнее слово она чуть не выплюнула вслух, но вовремя спохватилась: нежеже во время священного праздника зло и обиду в себе таить. Но по-другому не получалось. Всё в себе, в себе, потому что...

Потому что все они смотрели на тебя: справа, слева, сзади – как ты, ригова сестра, идёшь об руку со своим братом, спесиво смотрящим по сторонам; как держишься, не краснеешь ли от каждодневных людских пересудов? Иди, милая Дейрдре, иди впереди всех, прямо к священному дубу, колодцу и каменному алтарю. Вот так, ещё немного, последние шаги...стоп! Дальше вас встречают.

Из-за деревьев на поляну вытягивалась процессия друидов в белых, синих и зеленых одеждах. Во главе, опираясь на резной посох, шел Верховный друид Роши Катбад.

Отец...

Шею и запястья верховного и других высших, облачённых в белые одежды, украшали золотые обручи. Каждый друид нёс в руке серебряные ветви, украшенные крошечными колокольчиками. Эти ветви символизировали чудесные деревья потусторонней Эмайн-Аблах, куда хоть один из сидов нет-нет, да и приведёт. Так пели барды и филиды. Так говорили уладские матери, укладывая детишек в постель.

Дейрдре глянула на брата, который не проронил ни слова с тех пор, как взошёл сегодня на колесницу. Конхобар – заметила она – немного волновался. Поэтому он специально сейчас надел на себя маску каменной невозмутимости. У брата это хорошо получалось: каждый риг (вспомнилось сказанное некогда отцом) должен владеть чертами своего лица.

«Да, – с иронией подумала Дейрдре, – каждый риг должен уметь лепить своё лицо на людях. Особенно тот, кого прочат в ард-риги Эрина. Ведь ты хочешь стать ард-ригом, Конхобар? Или больше, чем ты, этого хочет наш отец?»

Дейрдре прекрасно понимала, что все эти дни, пока будущий муж Суалтам не отвезёт её в свой Айрдиг на равнине Муиртемне, что у гор Куальнге, ей придётся лепить своё лицо на все лады. В угоду людям, желающим праздника. В угоду отцу и брату. Но надолго ли хватит ей терпения сносить эту муку? Ведь если слепленную из воска личину поднести к огню, она начнёт плавиться. И не известно, где сей огонь настигнет тебя?

Барды в одеяниях цвета морской волны, отбивая ритм на бадранах, в унисон пели древний гимн начала священнодействия:

Вы пришли к Священной Роще
С чистым сердцем, чистой костью,
С чистой плотью, с чистым слухом –
Слиться с нерушимым Духом.
Вместе мы путями древних,
Люди мира, люди древа,
Сей священною порой
Возвращаемся домой!

Возврат домой – так называют любой обряд единения с Ди. Ибо когда-то одно и то же Глубинное Море исторгло на поверхность и Ди, и людей.

Друиды торжественно обходили посолонь Древо, колодец, алтарь и всех прибывших. Провожая взглядом процессию, Дейдрде успела мельком оглядеть собравшихся. Прямо за спиной стояли знатные всадники, которым всегда было уготовано место в Доме Красной Ветви, главном пиршественном чертоге Эмайн-Махи.

Пощипывая длинный ус, куда-то вдаль глядел Конал Кернах, Победоносный, прозванный так за то, что не имел ни одного поражения в поединках с коннахтами. Суровый Лоэгайре почему-то насупился и ковырял носком землю. Кускрайд Заика, любивший хвастаться тем, что отделался лишь царапиной от дротика в схватке с непобедимым коннахтом Кетом, сыном Матаха, щурился на солнце, и широкий шрам дерзко отливал розовым.

За ними гордо держали головы Мунремур, сын Гургена, Менд, сын Салолкана, Кельтхар, сын Утхара и многие другие – нерушимая опора Эмайн-Махи и всех уладов. Многие из них ещё помнили отважную риганн Несс, мать Конхобара. Некоторые из этих воинов даже успели побывать в разбойных походах Катбада, когда тот ещё не был ни мужем Несс, ни отцом Конхобара, ни верховным друидом уладов, а всего лишь бродячим сорвиголовой.

И не было тогда у Катбада ничего, кроме двадцати лет обучения в Роще, злющей кусачей кобылы, доброго меча за спиной да целый курах глам дицинов, хулильных песней – для несговорчивых жертв ночного разбоя и более сильных противников. Но народная память, словно древесные сваи озёрного краннога, ничего подле себя не держит, и о грабежах Катбада теперь мало кто вспоминает. Вслух. Напротив – вот уже много лет все про него говорят уважительно: «Помимо того, что друид, он ещё и воин!» Редко, когда про кого-то так говорят...

Далее стояли главы финов, туата-риги и почётные заложники, которых немало находилось при дворе в ту пору. Ещё дальше – свободные ремесленники и землепашцы, в самом конце процессии кучковались рабы: пленные коннахты, лагены, муманы и те из уладов, кто по какой-либо причине чрезмерно задолжал зажиточному соседу. Кое-кто из них держался более гордо и независимо, чем остальные: видимо, скоро родичи уплатят за них выкуп.

Дейдрде словила на себе несколько взглядов. Кто-то сразу отвел глаза, иные продолжали смотреть дальше, кто с сочувствием, кто с завистью.

Разные люди.

Разные мысли.

В одном и том же человеке сколько лиц, столько и мыслей.

В землю заострённым концом вонзилась последняя серебряная ветвь. Священный круг замкнулся. Друиды выстроились дугой напротив мирян. На лица бородатых мужчин падали солнечные блики и тень от листвы Дуба.

Катбад выступил на несколько шагов вперёд и произнёс:

– Благородный риг уладов, знатные всадники и всадницы, свободные жители Эмайн-Махи и прочие, прибывшие в это священное место на праздник Брон-Трограйн³³! В сей день и час мы празднуем великое сочетание брачными узами могущественных Ди – Луга Ламфады Самилданаха и воинственной Морриган!

В недрах сложенных домиком веточек заалел огонёк.

И снова, как и ни один раз прежде, Дейдрде ловила себя на мысли, что она никогда не узнает своего родителя до конца. Ведь от его бурной молодости остались одни рассказы старых воинов – среди домашних эта тема вообще не поднималась. А в разговорах один на один с Конхобаром – Дейдрде иногда невольно слышала их бе-

седы – Катбад был весьма непреклонен, принуждая сына беспрекословно подчиняться своим решениям. На пирах Катбад всегда молчал. И лишь при священнодействиях, как сейчас, на него, казалось, снисходил какой-то необычно торжественный и в то же время неприступно-загадочный ореол, сквозь который не могла пробиться ни одна мысль извне. Отец многому научил Конхобара. Играть лицом – в первую очередь.

Из длинного рукава своего одеяния верховный достал небольшой колокольчик, прозвеневший девять раз.

Мы приносим жертву Земле,
Нашей Матери единосущной!
Наши стоны – на ейном челе,
Землю мы почитаем радушно.
Ты, что даришь нам жизнь каждый день,
Днесь прими подношенье детей!

Все знали, что следует делать после этих слов. Первыми опустили на колени Конхобар и Дейдрде, за ними последовали и остальные. Сотни губ припали к плоти Матери–Земли, её цветам и травам. Когда Дейдрде опускалась на колени и снова вставала на ноги, Конхобар заботливо поддерживал её, как и при схождении с колесницы.

«И верно, – думала Дейдрде, – живот уже мешает. А брат действительно не просто хочет заботливым казаться. Он любит меня... по-своему. – Она украдкой оправила свободно ниспадавшее платье, неосознанно дотронулась до покоившегося на шее серебряного обруча-торквеса. – Да и что он мог поделаться с этими слухами?..»

Брон–Трограйн. Праздник урожая. Работа в полях приостановилась на целых тридцать ночей: так требуют традиция и верность Воле Ди. Этот праздник ещё называют Лугнасад, свадьбой Света–Луга с Великой Владычицей Морриган. Не случайно Катбад хочет выдать свою беременную дочь замуж именно в эти священные ночи.

И вспомнилось вдруг. Про ночь...

Когда Дейдрде исполнилось четырнадцать зим и брат накануне празднества решил ей гонять на колеснице вокруг Эмайн–Махи даже после захода солнца – Катбад, едва дневное светило закатилось за горизонт, сам помчался на лошади наперерез улюлюкавшей во всю Дейдрде и приказал ей остановиться.

– Домой! – рявкнул отец.

Озорные глаза Дейдрде наполнились обидой:

– У меня сегодня *Ночь*³⁴ рождения, значит, *ночью* я буду делать всё, что захочу!

Сам ведь учил: ночь – продолжение дня, а не наоборот.

За это она заработала от верховного звонкую оплеуху:

– Не хами отцу! Я учил – мне и запрещать.

В слезах Дейдрде повернула коней в сторону ворот.

Это было давно, целую вечность назад. Два года – назад.

Катбад принял из рук другого друида мошну, из которой в костёр пригоршнями полетел овёс.

Мы зажгли наш костёр на зелёной груди,

В нем горят наши земные долги,

Матерь-Земля, нашу жертву прими!

– Матерь-Земля, нашу жертву прими! – нестройным, но торжественным хором отозвались все присутствующие.

Друид, подававший Катбаду мошну, произнёс дребезжащим высоким голосом, сильно контрастировавшим с низкой интонацией верховного:

Царства Стихий, благословите нас,
Чтоб Священный Огонь до утра не погас!

– Благословите нас! – отозвались друиды и миряне.

– Благословите нас, – Дейдрре произнесла эти слова вместе со всеми, но ей показалось, что слышен был лишь её собственный голос.

Ибо она слышала – но не слушала – слова святых отцов. Она слушала – но не слышала – свои мысли...

В последнее время ей удавалось не слушать, что говорили вокруг. Особенно, когда судачили о том, что молодой беспечный и падкий под хмелем на «подвиги» Конхобар сам сделал родной сестре ребёночка. Ни для кого из обитателей и гостей Красной Ветви не было секретом, что риг клал Дейдрре спать всегда рядом с собой. «Возница и воин должны разделять и воинскую потеху, и праздный отдых», – любил говаривать брат, вспоминая уроки воинского дела, преподанные когда-то отцом. Отцовы уроки ригу вспоминались редко, да и то лишь те из них, которые в том или ином случае могли быть ему выгодны.

Рядом с верховным встал облэр, филид, знавший согласно своему рангу семь героических историй о Ди и героях древности. Имени облэра Дейдрре не помнила – он редко появлялся в Красной Ветви. Святой отец воздел руки горе и, закатив глаза, начал петь заклинание Вдохновения-Имас³⁵:

Сила Великого Вдохновения,
Обрати свой взор на наши моления!
Войди в сокровение наших сердец;
Да сойдёт на наш обряд Истины венец!
В этом священном месте, в это священное время
Веди нас Путём, сила Вдохновения!
Имас! Имас! Имас!
Будь благословенна!

– Будь благословенна! – вторили остальные друиды.

– Будь благословенна! – повторили Конхобар и все, стоявшие за спиной Дейдрре.

– Будь благословенна! – сказала она.

Катбаду подали факел, и он зажёл его от уже разгоравшегося священного огня, к которому время от времени подкладывали поленья. К Священному Колодцу подошёл Ферхертне, сын Койрпре, оллам всех уладов, всегда смешивший Дейдрре своей топорщившейся рыжей кудрявой бородой. Двое файтов уже вытаскивали из колодца громадное каменное ведро, до краёв наполненное водой. Из него Ферхертне зачерпнул святой влаги в медную чашу.

Катбад и Ферхертне почти одновременно застыли на месте, один с зажжённым факелом, другой с полной чашей. В это время провидец, один из старших файтов, с кубком, наполненным медовым варевом, вышел из круга, едва задел две серебряные ветви, отозвавшиеся приветственным звоном. Файт шёл в южную сторону, к алтарю фоморов.

«Фоморы, – думала Дейдрре. – Вот уже много сотен лет, если верить друидам, они не появляются на Эрине, изгнанные Туатха Де Дананн. Но те же друиды почему-то до сих пор опасаются их, этих порождений Моря, и приносят откупные жертвы. А строгие мамы пугают фоморами своих непослушных детей. Или фоморы до сих пор чем-то опасны для человека? А может быть... и для самих Ди? Но чем?..»

Файт дошёл до алтаря фоморов, плоского закопчённого ракушечника, нерушимо покоившегося среди летних полевых трав. Он поднял кубок обеими руками и произнёс древнюю, как мир, формулу на Берла Фене, закрытой речи друидов. Дейдрре пришлось слышать ее раньше, и не только во время обрядов: Катбад частенько в присутствии детей использовал Берла Фен в разговоре с братьями по Роще и учениками.

Фоморы, исчадия вечной Тьмы,
 На вечное изгнание вы обречены!
 Вам не дано в круг священный войти,
 Когда мы славим благостных Ди.
 Жертву примите
 В урочный час
 И дальше идите,
 Не трогая нас!

С этими словами содержимое кубка густым плеском вылилось на алтарь, и шальная тучка на несколько мгновений загородила Солнце, око Луга, от людских взглядов. Дейдрре – и, может быть, не только ей одной – показалось, что она слышит какой-то утробный вой, донесшийся со всех сторон одновременно. Словно в ответ ему зябко затрепетали листья священного Дуба. Будто подражая листе, ниточки бахромы на подоле платья молодой женщины слегка всколыхнулись, неприятно щекоча лодыжки.

Такое нередко случалось во время откупного обряда – так называли эту часть священнодействия. Все явно говорило о том, что фоморы приняли жертву.

Файта при входе обратно в круг уже ждали Катбад и Ферхертне. Едва фыйт минул серебряные ветви, отозвавшиеся на его возвращение радостно-приветливым звоном колокольчиков, верховный принялся усердно окуривать брата по Роще дымом чадающего факела, а оллам – кропить его водой из чаши, произнося слова:

Мы очищаем тебя от фоморов,
 Мы отрезаем тебя от них,
 Чтобы ты к нам возвратился снова,
 Чтобы вернулся в Мир Живых.

Фыйт занял своё место среди друидов, а Катбад с Ферхертне направились к мирьянам, дабы освятить их водой и огнем. Дым факела ел Дейдрре глаза, а капли воды, попадавшие на лицо и шею, заставляли невольно вздрагивать.

Но так было надо.

Один из бардов запел:

Огнём и Водюю,
 Меж Небом и Землёю
 Мы стоим, Древу Мира подобны,
 Что ветвями воспряло
 В бесконечные дали,
 В безначалье пустив свои корни.
 Идём же в Колодец – земные уста,
 Идём же в Колодец – земные глаза,
 Идём же в Колодец, к воде возрождения!
 Серебро – благодатной Воде приношение.
 Мы вместе поём песнопения!
 Мы разожжём Огонь священный,
 На Землю прольются днесь приношенья.
 Сиянием Солнца, сияньем Луны
 С Огнём наши души чисты и юны.
 Мы славим во благо, вреда не чиня
 В дыхании жизни, в дыханье Огня.
 Собери нас в Дереве, корне всего,
 Собери нас в Дереве, кроне всего,
 Собери глубоко и высоко!

Мы, люди, все вместе шлём этот зов,
Да правит нас мудрость, да правит любовь!

Когда бард закончил петь, Катбад произнёс:

– Дети земли собрались у Священного Дуба, чтобы почтить святость Свадьбы Длиннорукого Луга и Великой Морриган, святость Первого Урожая и Мирного Собрания Народа. Мы стоим в начале Времени Созревания, когда люди принимают роды у Земли, когда сила Солнца отдаёт себя Силе Земли. Мы собрались в мгновение отдыха и радости перед самой жатвой. Земля даёт нам свои плоды!

Как предки наши поступали,
Так будем поступать и мы;
Чтоб с нас пример потомки брали,
Мы славим тучность урожая
И щедрость Матери-Земли!

«Дети Земли... Мирное Собрание Народа... – Дейдрде перекачивала в голове слова отца, словно шары для игры в хёрлей³⁶. – Какое же это «Собрание Народа»? Нет, это лишь собрание одних только уладов, да и то далеко не всех. Вот кормилица рассказывала, что когда в Темре сидел ард-риг, тогда и было Собрание *всего* Народа. Конхобар, знаю, ещё совсем маленьким был, когда однажды на выборах нового ард-рига Фалькамень³⁷ молчал... Отец формулы – то древние, думаю, все на зубок знает – вот и эту, про «мирное собрание», говорит просто по старой памяти. Да нет, не просто говорит. Он просто так ничего не говорит».

Катбад направился к Колодцу. Ему подали серебряные украшения, и он бросил их в воду с такими словами:

Священные воды, текущие ниже всего бытия,
В этот святой день жертву примите в себя!
Колодец Мудрости Древней,
Источник бездны нетленной,
В сей день и час
Проявись внутри нас!

– Проявись внутри нас! – поддержали все.
К Священному Костру подошёл Ферхертне:

Священный Огонь, всё пожирающий,
Истинный и святой свет Сияющих,
Священный Огонь, преображающий Мир,
В сей день и час нашу жертву прими!
О, принесённый в жертву
И приносящий жертву,
Пусть наши души и наши жизни будут тобой согреты!
Священный Огонь, зажгись внутри нас!

Последнюю фразу произнесли и остальные.

Сегодня, когда обряд завершится, друиды снимут круг, и все примутся пировать прямо здесь, на поляне у Священного Дуба, Катбад вложит руку Дейдрде в руку Суалтама, сына Ройга из Айрдига, и благословит их на жизнь в одном доме, как мужа и жену. Хитро придумал верховный: с этого дня самая последняя сплетница в Эмайн-Махе и та не посмеет даже в мыслях обсуждать внебрачную беременность риговой сестры, дабы не прогневать бессмертных Ди, а особенно Луга и Морриган, в день почитания которых и будет обручена Дейдрде.

Двое фэйтов снова взялись за колодезную веревку, и облэр зачерпнул священной

воды в принятую из рук Ферхертне чашу. Вместе с файтом, взявшим у Катбада факел, они подошли к Дубу. Древней коры коснулись дым и капли воды. Файт произносил молитву Древу:

Священная Колонна,
Граница всех миров,
Средь Неба облаков,
Средь Моря непреклонна,
Среди Земли зернистой
Позволь же опуститься
Нам до твоих корней!
Позволь достигнуть выси
Незыблемой твоей!

– Священное Древо, расти внутри нас! – поддержали слова файта все присутствующие.

Теперь вперёд выступил Сенха, сын Айлиля, верховный брегон уладов, стоящий по иерархии на одну ступень ниже Катбада. Сенха уже принял факел из рук файта и обратился к собравшимся:

Земля священна для всех нас,
По ней ступаем всякий раз.
Святой для нас Морей покров,
Он достаёт Иных Миров.
Свята Небесна Пелена,
Она чудес благих полна.
Над головой у нас Небо,
Земля под ногами,
И Море вокруг!

Ему вторил Моранн, младший брегон:

В Священном Центре Трёх Миров
Врата снимают свой засов!

И тут же барды принялись отбивать на своих бадранах ритм, сперва напоминавший некий непостижимый сознанию человека гул. Ритм постепенно становился громче, наращивая темп.

– Откройте Врата! Откройте Врата! Откройте Врата! – таким же нарастающим гулом вторили ритму люди.

Казалось, это будет продолжаться вечно. Дейдрде, почти беззвучно повторяя формулу одними губами, даже невольно зажмурилась, успев про себя усмехнуться: каждый раз, когда во время священнодействия начинают открываться Врата, по спине пробегают мурашки и назойливо щекочет виски. Становилось страшновато. Раньше она хоть стояла где-то в середине процессии, за спинами могучих воинов, среди знатных женщин Эмайн-Махи, и все происходящее воспринималось гораздо спокойнее. А сейчас, стоя во главе собравшихся, пусть даже вплотную к брату, Дейдрде вдруг почувствовала себя совсем беспомощной и незащищенной. На трон сознания прочно воссела мысль: «Никто тебе не поможет, девочка, никто за тебя не заступится. Участь у тебя такая – все будут решать твою судьбу, только не ты!»

И на душе вдруг стало так тоскливо и обидно за саму себя!..

Следующие действия друидов прошли перед глазами вскользь, не затронув ни единого чувства внутри.

Когда крики людей вместе с бадранным боем достигли своего апогея, Катбад раскатисто воззвал, заглушая своим голосом общий шум:

Мананан-Ди, Хранитель Врат,
 Не выпускающий назад,
 Для нас открой свои Пути!
 Чтоб древний Путь мы все прошли,
 Власть эту с нами раздели
 И жертву нашу днесь прими!

Из рук Ферхертне в Костёр полилось масло.

А вокруг – голоса и ритм, ритм и голоса – всё смешалось, нет прохода иному звуку. Колесо общего гула по мановению руки оллама раскручивалось всё быстрее и быстрее...

...А сквозь него – такая тишина!..

Катбад, поудобнее перехватив посох, направил его на вершину Дуба. Посох двинулся противосолонь, описывая круг, как бы касавшийся самого Древа, Огня, продолжавшего пожирать поленья, и Колодца со священной водой.

Вот он приблизился к Огню.

– Пусть Огонь откроет Врата! – воскликнул Катбад.

Теперь – к Колодцу.

– Пусть Вода откроет Врата!

И завершился круг там же, где и начинался – напротив Дуба.

– Пусть Древо объединит Миры!

Едва верховный произнёс последнее слово, как бадранный бой прекратился на сильном ударе, а люди, все, как один, смолкли.

Руки Катбада взметнулись вверх в призывающем жесте:

– Пусть откроются Врата!

– Пусть откроются Врата! – что есть силы, выкрикнули все.

И на несколько мгновений всё замерло, казалось, навечно. В этой тишине мысли Дейдрре как будто тоже немного успокоились, даже стали ластиться к хозяйке.

«В конце концов, не у меня одной в нашей семье такие дела творятся с женитьбой».

Ещё когда была жива риганн Несс («мама...»), за брата была просватана другая Дейдрре, дочь Федельмида, катбадова соратника. Конхобар, кстати, был к ней абсолютно равнодушен. Оставалось лишь полгода, чтобы девушке минуло шестнадцать зим и сыграть пышную свадьбу.

Но ей, уже поселившейся в покоях Красной Ветви, на женской стороне, приглянулся удалой Найси, сын Уснеха, уже успевший к тому времени прославиться вместе со своими братьями в порубежных боях против коннахтов. Пылкий юноша, года на четыре старше Конхобара, ответил риговой невесте взаимностью, и они в сопровождении двух братьев влюбленного, Айнгле и Ардана, бежали – не сколько от гнева обманутого жениха и владычицы Несс, сколько от мстительного Катбада, высматривавшего в намечавшемся браке какую-то выгоду для себя.

Бежали они, как ни странно, к коннахтам: круаханская риганн Медб всегда была рада принять умелых воинов в свою дружину, полностью состоявшую из чужеземцев. Но правду говорят старики: нет уладу счастья в чужой земле. И скитались трое мужчин и одна женщина от Круахан-Ай до Эсс-Руада и от Эсс-Руада тайком до Энгара, что в уладских пределах. А оттуда, купив курах, отправились к берегам Альбы³⁸. Но и там, чуть не став жертвой заговора местного вождя-сластолюбца – у него сыновья Уснеха служили несколько месяцев – не задержались беглецы. Они осели на одном из небольших островов к западу от Альбы.

Вскоре к берегу острова пристал курах одного уладского путешественника – такие ненормальные нередко встречались на Эрине. Тот должен был залатать и засмо-

лить судно, пополнить запасы пресной воды. Признав в мореплавателе земляка, Найси приютил на две ночи всю его команду. Путешественник отбыл в море, а через полтора месяца к берегу пристал ещё один курах. На нём прибыли Фергус, сын Ройга – бывший риг уладов, ныне же верный всадник Конхобара, а с ним – Дубтах и Кормак, воины, бывшие в дружине Несс. Они и выступили поручителями в безопасности Дейрдре и сыновей Уснеха, если те вернутся в Эмайн-Маху.

Но ничем хорошим это не закончилось: по прибытии домой Найси и его братья были вероломно убиты, а сбежавшая невеста заключена в один из покоев Красной Ветви³⁹ – под домашний арест. В эту же ночь Фергус и двое других поручителей устроили в Эмайн-Махе резню, подожгли сам город и бежали на запад. Последний раз их видели у брода через Боанн, на коннахтской заставе.

Кровь уладов – гордая кровь. И если мужчина мстит любому, кто воспрепятствовал нерушимости данного им слова, то женщине ничего не остаётся делать, как свести счёты с жизнью.

Эмайн-Маха отстраивалась заново, улады хоронили убитых сородичей. А две девушки сидели вдвоём, обнявшись, под неусыпным оком стражей. И плакали... Две Дейрдре, одна – взрослая, с округлыми формами тела, уже познавшая сладость мужской ласки, а другая – угловатый подросток, совсем ещё девчонка, у которой в голове вместо музыки в ушах стоят ржание коней да скрип колесничных колёс. И маленькая Дейрдре, глядя на свою взрослую подругу, уже тогда начала понимать цену любви и нелюбви.

... – Не пойду за твоего брата. Умру, а не пойду! – и большая Дейрдре плакала по своему мёртвому Найси...

С Конхобаром разговаривать было бесполезно. Прекрасно обработанный отцом, возымевший безграничную власть над сыном после смерти Несс, молодой и бестолковый риг даже представить себе не мог, что бракосочетание сорвётся; раз папа сказал – значит, всё так и будет.

...Но сорвалось.

Один прыжок с колесницы прямо на скалу расставил все огамические чёточки⁴⁰ на прямой линии судьбы.

Погибшую возлюбленную Найси, сына Уснеха провожали всем городом. И Катбад, как всегда в таких случаях надевший маску торжественной неприступности, бросил первую горсть земли на курганный сруб.

А маленькой Дейрдре, повзрослевшей разумом за одну ночь, когда разъярённый Фергус бесчинствовал среди домов Эмайн-Махи, пытаясь пробраться к покоям рига (сама девочка сидела в то время взаперти со служанками), – этой маленькой Дейрдре ещё долго будут помниться слова её погибшей подруги: «Не пойду за твоего брата. Умру, а не пойду!»

* * *

Катбад закрыл глаза:

– Мы взываем к Великой Морриган и Великому Лугу!

И Ферхертне – вслед за ним, орошая алтарь водою из священного сосуда:

– Красная Женщина, Великая Ди, Владычица Земли, дети оной приветствуют тебя! Мы призываем тебя, чтобы созрело зерно; мы призываем тебя, чтобы плодоносили ветви. Мы призываем тебя Копьём, окрашенным в красный цвет.

Перед олламом острием вверх в землю вонзилось Копьё⁴¹.

– Мы подносим тебе чистую воду, нежную, как дождь.

Содержимое, лившееся на алтарь, иссякло. Грубо обработанный мокрый гранит искрился в лучах приветливого Солнца.

– Святая, Яростная, Предсказательница, Соблазнительница, Радость и Проклятие

Героев, Возлюбленная, Пожирающая, Великая Владычица, мы взываем к тебе. Настал сезон созревания, и днесь ты сама – плоды и щедрость Земли, явившиеся на свет под лучами Солнца. Осеняема ныне цветами, ты зриаешь на нас!

Из толпы друидов неслышно – грациозной походкой выпорхнула уже немолодая, но не так уж ссутуленная годами, бан-фили первого ранга, Леборхам, наставница Дейдрре. Леборхам приблизилась к Колодцу и быстрыми движениями рук украсила его борта цветами. И снова скрылась за стеной бело-сине-зелёных одеяний.

Ферхертне продолжал:

– Спустись в Красоте, вознесись в Мощи, о, Владычица! Займи достойное тебя место в нашей священной роще. Днесь принеси сюда благословения, щедрость и восхищение. Красное вино, наполненное любовью к Солнцу, – для тебя одной!

И чаша с вином, поданная Леборхам, опустела, оставив жертвенный напиток на алтаре.

– Великая Морриган входит в священную рощу! – объявил Катбад.

И снова всё смолкло. Даже птицы перестали петь. На Дейдрре накатило какое-то непонятное тепло, словно Великая Владычица Морриган коснулась лица рукавом своего платья, невидимого, как и она сама, для глаз людских. Каждый год те, кто стоит на Лугнасад впереди процессии, рассказывали, что именно в этот момент чувствовали примерно то же самое: пошла тёплая волна воздуха, потом еще одна... Дейдрре чувствовала её: не ту, что видят воины перед смертью, несущуюся по небу на колеснице с обнажённым мечом в руке. Другую! Красивую, стройную, невозмутимую и... любящую.

Такая Морриган напоминала маму, риганн Несс, да будет Дорога её прямой и да не промедлит она между Мирами...

Верховный обходил присутствующих, держа в руках куклу, набитую зерном, символизирующую Морриган. К кукле был привязан букет из девяти роз. Оллам сопровождал шаги верховного словами:

– Светлая Ди, прими это одеяние в дар, ибо мы украшаем тебя для обряда сочетания узамы брака. Красный, пурпурный, алый покров – кровь жизни, сила мысли и слова, роза летнего совершенства. Мы принимаем всем этим тебя, Владычица Лета, Сладкий Мёд, Могущественная Морриган!

Описав полный круг перед собравшимися, Катбад положил куклу перед алтарём.

... Та суровая, воинственная Морриган ясно ассоциировалась у Дейдрре с Медб, дочерью последнего ард-рига Эохайда Фидлеха, который до своей смерти успел сделать дочери замечательный подарок. Попытавшись просватать свою самую умную и способную к государственным делам дочь, коей Медб и являлась, ард-риг получил отказ. И от кого?! От занюханного Тине, сына Конраха, последнего думнония на коннахтском троне. В результате заносчивый Тинне был выкинут из Круахана пинком под зад, а Медб надменно вступила в столицу коннахтов, в свой новый дом.

Долго новая владычица западной пятины Эрина была завидной невестой. А дальше шли сплетни. Будто Койрпре Кенндерг, первый, уже состоявшийся муж Медб, через полгода после свадьбы умер не от вылеченной вовремя простуды, а от яда, подсыпанного в лекарства по наущению самой Медб. Что Конхобар уладский, за которого она вышла сразу после смерти Кенндерга, безуспешно пытался в первую ночь хоть что-нибудь сделать с новоявленной женой. Та была лет на семь старше мужа, и девятнадцатилетний Конхобар, всеми способами старавшийся заслонить досаду от потери своей покойной невесты Дейдрре, как мужчина мало интересовал Медб. Она только шикнула, и уладский риг до утра и пальцем пошевелить не решился. А на вторую ночь Медб уже сгнула на сеновал с любовником. Так продолжалось год. Конхобару Медб не нравилась совсем, но перспектива личной унии Эмайн-Махи и Круахана была для Катбада выше личных интересов сына.

– Делай, что хочешь, спи, с кем хочешь, – обыкновенно бросал он в лицо Конхобару. – Но это круаханская шлюха должна сидеть в Махе и носа за ворота не показывать.

«А она действительно красивая», – подумалось Дейрдре.

Прямые чёрные волосы ниже лопаток, серебряно-золотой торквес на голове. Взгляд – полный пренебрежения к окружающим и преклонения перед силой и разумом. Этот взгляд пасовал лишь перед глазами Катбада и Ферхертне. Первого она боялась, второго уважала.

И почти всегда – победы среди воительниц в колесничных забегах, стрельбе из лука, метании дротика и копья, поединках на мечех. Конал Кернах лишь языком поцокивал, а Брикрен показательно облизывался.

Но через год Медб стало скучно, и она, забрав свой эрик⁴², который – это всем было понятно – в данном случае носил чисто символический характер, просто уехала со своими телохранителями в Круахан⁴³. Все далеко шедшие планы Катбада рушились, словно песочная крепость под ударами приливных волн. В отместку за это верховный уладов наложил на бывшую невестку коварный гейс: впредь не брать в мужья человека, наделённого завистью, скупостью и страхом. Но Медб оказалась хитрее друида-головореза: третьим её мужем не стали ни бык-осеменитель Эохайд Бик, ни храбрец Финд, риг лагенов, ни Койрпре Ниа Фер, мудрый не по годам. Все трое не были лишены пороков, оговоренных в гейсе.

Им стал родной брат двух последних – Айлиль, сын Росс Руада и Мата Муриск. Идеалист, благодаря влиянию матери, с юношеских лет Айлиль отличался неким чудачеством и слыл по всему Эрину сущим добряком.

Айлиль не завидовал – он был доволен тем, что имеет, и никогда не претендовал на чужое.

Айлиль не скопидомничал – он отправлялся в поход, добывал богатые трофеи, раздавал на праздники дружине и родственникам, а затем снова отправлялся в очередную поход.

Айлиль не ведал страха – однажды в молодые годы он лежал при смерти в лапах какой-то непонятной болезни. Друиды были бессильны что-либо сделать, и душа Айлиля уже, казалось, должна была перейти в следующее воплощение, но что-то помешало ей это сделать и, промедлив между Мирами, душа вернулась обратно в тело. Айлиль не любил рассказывать о том, как летал над собственным телом, но с того дня твёрдо понял, что жизнь человека в руках Ди и, умерев однажды, второй раз умирать гораздо легче.

Так Айлиль стал ригом коннахтов и хозяином Круахана. Ему было тридцать восемь, Медб – двадцать семь.

С Медб Конхобару тоже не повезло, – подумала Дейрдре. – Но братец и сам не подарок: посидит на пиру, потом – шашть к любовницам, и – до утра. А меня – за любимого человека, да ещё и почти на сносях...

Звери вы все!

От вновь нахлынувшей обиды Дейрдре чуть не зарыдала прямо при всех. Но вовремя взяла себя в руки: на священной церемонии мало того, что в поведении, – в мыслях не должно быть и тени злобы и негодования. Ди всё видят и слышат. Особенно сейчас.

В роцу звали второго – и, как считали, наверное, все люди Эрина – главного виновника торжества.

– О, Победоносный Луг, – восклицал Катбад, – укрой нашу роцу своим щитом. О, Луг Сверкающего Копья, сокрушитель фоморов, победитель Балора, встань в нашем центре. Прими это пиво в знак нашего приветствия!

На алтарь из заранее наполненной чаши полился жертвенный напиток.

– О, Искусный–Во–Всех–Ремёслах, Длиннорукий Воин, Неудержимый–В–Сражении, Великий Бард! Пусть наша жизнь пройдёт в мире под рукой Рига Туатха Де Дананн! Да возрадуемся мы на пире Свадебного дня Луга! Мы приносим этот хлеб, дабы процветал урожай под рукой жнеца!

Разломленный на две равные половины каравай хлеба, испечённого в форме глаза, занял своё место на алтаре, среди цветов, поднесённых ранее для Морриган.

– Услышь зов твоего народа! Мы призываем тебя Копьём и Вороном, мы молим тебя среди твоего народа: о Луг Победоносный, Свет, ведущий нас, о Луг Победоносный, прими это приношение плода и явись в силе!

В небо, довольно каркая, взмыл ворон, пущенный Моранном. Между двух половинок хлеба верховный почтительно положил большое яблоко.

– Небесный Свет входит в Свадебную Рощу! – возгласил Катбад.

Сразу после этих слов Сенха и Моранн выдернули Копьё из земли и – после того как Леборхам украсила его полевыми цветами и гирляндами из листьев – пронесли священное оружие по кругу, обходя алтарь, Колодец, Костёр и Дерево. Когда Копьё заняло своё изначальное место, Катбад девять раз окропил его водой из Колодца, произнося:

– Пусть поднимется над нами Сила Луга, пусть восхитит нас Красота Луга, пусть обучимся мы Умениям Луга. Добро пожаловать, о Светлый! Созерцай свою невесту. Добро пожаловать, о Серебряно–Белый! Окажи помощь Земле! Добро пожаловать, о Луг Ламфада! Прими наше приветствие в священной роще, в кругу твоего народа, в сердцах тех, кто чтит Землю!

Внезапно Дейрдре подняла глаза и увидела...

...Поверх раскидистой кроны Священного дуба, весело игравшей своими листьями, она увидела *его*. В небесном сиянии статная фигура в белоснежных одеждах, тонкие пальцы умело перебирают струны золотой арфы, губы – в нежной ослепительной улыбке. А глаза смотрят – ...

... на неё!

И тут Дейрдре вспомнила. Она вспомнила, где видела эти глаза, эту улыбку. Нет, не наяву – во сне. В том памятном сне, который она с радостью променяла бы на радость бега колесниц, печально–красивые песни искусных бардов и поучительные сказания мудрых филидов.

... День тогда выдался трудным и несказанно печальным: умер полугодовалый мальчик, воспитанник риговой сестры, роды которого она сама и принимала. Ребёнок был седьмым в бедной семье старого лесника, и прокормить новорожденного родители были не в силах. Дейрдре взяла дитя к себе, холила, лелеяла, но... смерть пришла быстро и незаметно. Коря себя в гибели мальчика – «не уследила, плохо заботилась, какая же из меня мать получится!?» – Дейрдре после похорон пришла к себе и долго не могла успокоиться.

Наконец, она заснула, и был ей сон.

В том сне эти пальцы, перебирающие теперь струны арфы, касались её обнажённого тела, эти улыбающиеся уста целовали её лицо, шею, грудь... Эти глаза смотрели на неё с такой нежностью, что хотелось кричать от радости и блаженства.

А потом Дейрдре почувствовала, что у неё вырастают крылья и она взмывает в воздух, и летит птицей за горы и бескрайнее море. Птица–Дейрдре легла на крыло, и сказочный ветер увлекал её всё дальше и дальше...

... Через семиночь после этого памятного сна – Дейрдре всё-таки решила, что это был сон, ибо очень сомневалась, что подобное может произойти с человеком наяву – наставница, мудрая Леборхам, перед очередным занятием как-то по-особенному посмотрела на свою воспитанницу и задумчиво произнесла:

– А я-то считала, что тебя одни скачки заботят, дитя моё. А сейчас гляжу – а плоду твоему уже восьмая ночка пошла.

... Видение внезапно растаяло в безоблачном небе. Исчезло без следа. Вокруг не было слышно никаких возгласов, аханий, и Дейдрре поняла, что лишь она одна увидела небесного Арфиста.

И тут всё встало на свои места.

«Глупая! – сказала Дейдрре сама себе, не зная, плакать ей или смеяться. – Как же ты раньше не догадалась! Это ведь ОН... ОН!»

И на душе вдруг стало так легко... Не было больше обиды на хитрого и расчетливого отца, безвольного и беспечного брата. Пропала обида, растворилась без следа в нежданно нахлынувшей лёгкости. Исчезла нараставшая неприязнь к будущему мужу. Всё поблекло в необъятном внутреннем празднике и каком-то таинственном спокойствии...

* * *

А когда обряд завершится и разожгутся пиршественные костры в ожидании проголодавшихся гостей, жаждущих праздника, Катбад сурово-торжественно возьмёт свою дочь за руку и подведёт её к жениху Суалтаму, сыну Ройга, туата-ригу Айрдига, что в границах уладов. Дейдрре поднимет на Суалтама глаза: крепкий, немного толстоватый с длинными волосатыми руками, ростом немного ниже невесты, лоб широкий, подбородок крепкий, лицо бритое... и до краёв влюблённые глаза. И улыбнётся ригова сестра и при соединении рук потрётся большим пальцем о шершавую поверхность тыльной стороны ладони Суалтама. И он радостно-облегчённо улыбнётся в ответ.

Теперь всё в порядке.

Теперь всё будет хорошо.

А неподалёку, улыбаясь – но по-своему – стояла бан-фили Леборхам, наставница Дейдрре, и левая рука её перебирала правильной формы кожаные лоскутки, нанизанные на бронзовое кольцо. Внезапно рука женщины замерла на очередном лоскутке, и взгляд упал на надпись, начертанную на нём:

«Логово оленя»

– Так я и думала, – еле слышно проговорила бан-фили, и улыбка не сошла с её лица.

(Продолжение следует)

Примечания

¹ Риг (ирл.) – король, вождь, глава одной из ирландских пятин.

² Коннахты – жители западной ирландской пятин.

³ Страна Теней – территория в потустороннем мире кельтов.

⁴ Филид – сакральный сказитель у кельтов; ранг в друидической иерархии, в свою очередь подразделявшийся на несколько подрангов.

⁵ Роца – здесь объединение друидов по территориальному признаку.

⁶ В мифах фигурирует под именем Дехтире. Автор считает оба эти имени идентичными с разницей в произношении и даёт вариант более легкий для слуха русскоязычного читателя.

⁷ Улады – жители северной ирландской пятин.

⁸ Муманы – жители южной ирландской пятин.

⁹ Эрин (букв.) – самоназвание Ирландии. Представляет собой родительный падеж от имени «Эриу», одной из Богинь Туатха Де Дананн.

¹⁰ Бан-фили – сказительница, филид женского пола.

¹¹ Риганн – правительница, вождь женского пола. Термин для удобства восприятия принят автором.

- ¹² Лагены – жители восточной ирландской пятины.
- ¹³ Туат – племя. Туаты составляли пятину.
- ¹⁴ Оллам – филид высшего ранга.
- ¹⁵ Туата-риг – вождь племени.
- ¹⁶ Ард-риг – титул верховного правителя Ирландии. Ард-риги жили в Темре (Таре) на территории лагенской пятины.
- ¹⁷ Га-болг (ирл.) – «счастлирое копьё», по легенде подаренное Кухулину Скатах.
- ¹⁸ Ман Саури – День Летнего Солнцестояния.
- ¹⁹ Фин – семья; несколько финов составляло септ.
- ²⁰ Фалга-Мон – о. Мэн.
- ²¹ Файт – прорицатель; начальный ранг друидической иерархии по данным Дугласа Монро.
- ²² Бард – певец; подранг филида, средний ранг друидической иерархии по данным Дугласа Монро.
- ²³ Друид – жрец, человек, отправляющий богослужения; высший ранг друидической иерархии по данным Дугласа Монро.
- ²⁴ Курах – небольшой корабль, сделанный из дубленых кож крупного рогатого скота.
- ²⁵ Хай Брезал – Остров Бреса, в мифологии Ирландии – волшебный остров, недоступный никому, кроме редких избранных.
- ²⁶ Темра – древняя столица Эрина, резиденция ард-ригов.
- ²⁷ Теимн лаэгда – песнь озарения, элемент песенной прорицательной практики друидов.
- ²⁸ Лугнасад (ирл.) – Свадьба Луга, праздник отмечается в ночь на 1 августа.
- ²⁹ Самайн – нынешний т.н. Хэллоуин, отмечается в ночь на 1 ноября.
- ³⁰ Гейс – запрет, налагавшийся на воина друидом, дабы сбалансировать его силу с окружающим миром. Чем искуснее и мощнее был воин, тем изощреннее и больше по количеству были наложенные на него гейсы.
- ³¹ Скела – песенное эпическое произведение.
- ³² Гламдицин (ирл.) – песнь поношения; образец песенной сакральной практики друидов.
- ³³ Брон-Трограйн – другое название праздника Лугнасад.
- ³⁴ Древние кельты отсчитывали сутки с ночи, а не с дня, что отразилось и на уровне общения: «ночь рождения», «через две-три ночи». Если переводить на русский, например, слово неделя у них имело значение «семиночь».
- ³⁵ Имас (ирл.) – вдохновение (валл. – Авен, Оуэн). Имеется в виду некое сакральное вдохновение, снисходящее на того, кто творит волшебство.
- ³⁶ Хёрлей – распространенная на Британских островах игра.
- ³⁷ Камень Фаль – Камень Судьбы, одна из Четырех Святынь кельтов. По преданию, при избрании ард-рига каждый кандидат должен был наступить на Камень Судьбы и он вскрикивал под пятою истинного помазанника, изъявляя этим волю Богов.
- ³⁸ Альба – так ирландские гойделы называли современную Шотландию.
- ³⁹ Чертог Красной Ветви – покои рига в Эмайн Махе, сделанный из красной древесины.
- ⁴⁰ Огам – пиктографический алфавит древних кельтов.
- ⁴¹ Копьё – Священный атрибут культа Луга.
- ⁴² Эрик – выкуп чести, материальное имущество, которое семья невесты отдавала в дом жениха и которое невеста могла забрать себе при разводе.
- ⁴³ Круахан-Ай – Равнина Круахан; город, стоявший на ней, также назывался Круахан и был столицей коннахтов.

Ольга БЕДНАЯ



Родилась 25 декабря 1974 г. в семье рабочих. В 1989 г. окончила неполную среднюю школу и поступила в Финансово-банковский колледж. По его окончании поступила в Экономическую академию. Окончила в 1997 г. В 1994 г. вышла замуж. В 1995 г. родился сын Владимир. В 2006 г. вышла в свет первая книга «Атласный пояс», в 2007 г. – «Инъекция страсти». Написана, но пока не издана третья книга, идет работа над четвертой.

Я забыла, как целуются

Подметает ветер бережно
Засыпающие улицы.
Может, ты и не поверишь, но
Я забыла, как целуются.

Свой мирочек, огороженный
От возможных потрясений, я
Покидаю настороженно
Иногда по воскресениям.

Вот в одну из этих вылазок
Я тебя однажды встретила.
Дождь дома и скверы вылизал,
Спелой свежестью приветил их.

Мы идем с тобой по лужицам.
Впереди сосна сутулится.
Мотыльками мысли кружатся:
Я не помню, как целуются.

Повернись к тебе, мой ласковый,
Загляну в глаза лучистые.
Ты развежь мою опаску и
Перед страхом дай мне выстоять.

Сколько тайны скрыто в шепоте!
Эти губы... Как же маните!
Несомненно, суть не в опыте
И, конечно же, не в памяти.

Мы те, кто...

Мы – те, кто деньги ставит выше,
Чем совесть; те, кто
Упавших с паперти не слышит.
Незримый Некто
Давно устал от наших криков,
Что в Бога верим,
Мы те, кто чтит священных ликом
И лицемерит,
Челом о землю ударяя
В ближайшем храме.

Добро из сердца выдворяя,
Мы держим камень
На всякий случай наготове
При встрече с другом.
Мы ловим любящих на слове
И рвем подпругу
Без угрызения под теми,
Кто нам поверил.
Мы называем светом темень,
Мы правду мерим
Кривой линейкой. Мы свергаем
Негодных с трона,
Устои прошлые ругаем,
Дерем корону
Из рук друг друга, обвиняя
Других. Мы те, кто
Неоднократно изменяет
Ведущий вектор.
Мы те, кто ищет виноватых
В ошибках мнимых,
И кто не знает, что расплата
Необратима.

Любовь поставила на кон

Любовь поставила на кон
И проиграла.
Пронзает пену облаков
Аккорд финала.

Мы так открыты и близки
На остром пике.
Ложатся вновь на холст мазки,
Ложатся блики.

Пытаюсь что-то изменить,
Но безуспешно.
Могу ли я тебя винить?
О, нет, конечно!

Никто ни в чем не виноват,
Но так уж вышло:
Разрядом в сотни киловатт
Пробито дышло.

И нам осталось лишь сойти...
Ну, что ж... Ну, что же...
Лети, воробушек, лети,
Лети, коль сможешь.

Тебе вослед я помашу
Платочком алым.
Тебя остаться не прошу.
Я проиграла.

Я предлагаю Вам бессмертие

Страсть запечатана в конверте, и
Пропитан воздух тишиной.
Я предлагаю Вам бессмертие
За жизнь со мной.

На пол скользнуло безразличие,
Взметнулся в небо крик ворон.
Я предлагаю Вам величие
И царский трон.

Дорога к Вам прошита точками,
Их наши сны соединят.
Я предлагаю Вам глоточками
Испить меня.

Любовь расписана по свойствам, и
Мечта развенчана с тоской.
Я предлагаю Вам спокойствие
И непокой.

Вы сомневаетесь? Поверьте мне,
Я предлагаю только раз...
Я предлагаю Вам бессмертие
В обмен на Вас.

Это временно

Знаки смыты, двери заперты.
Ты в меня вонзился спицею.
Ты в меня вонзился намертво,
Нипочем не расцепиться, и
Неразбавленной эротикой
Нас желанье держит в теме, но
Чудаки и идиотики
Говорят, что это временно.

Наплевать на чьи-то мнения.
Пусть другим глаголет истина.
Я за жизнь в одном мгновении
И за сцепленные кисти, и
За тебя, меня нашедшего,
И за то, что в сердце, сразу, и
За победу сумасшедшего
Над великим, сильным разумом.

Ну и что, что настоящее
Нас готовит к привыканию?
Я хочу как можно чаще и
До последнего дыхания.
Пусть твердят: любовь – экзотика,
Однозначно: я не с теми, и
Так на то и идиотики,
Чтоб твердить, что это временно.

Ты еще не знаешь, что влюблен

Тонкий нерв струною оголен,
Светлая мечта в ладонях влажных.
Ты еще не знаешь, что влюблен,
Да и это в принципе не важно.

Прошлое теряется в дыму,
В будущем надеясь отразиться.
Мне слова о чувствах ни к чему,
Мне вполне достаточно корицы,

Что насыплешь рыжим порошком
Утром в черный кофе. Мне бы только
В снах твоих побегать босиком
И мечты делить с тобой на дольки.

Мне вполне достаточно скользить
По тебе подушечками пальцев,
Видеть красоту твою вблизи
И в твоих объятьях просыпаться.

Новый день надеждой окрылен,
Вдаль стремится голубем бумажным.
Ты еще не знаешь, что влюблен,
Да и это в принципе не важно.

Давай допустим

В моих глазищах на миллион
Вселенской грусти.
Давай допустим, что ты влюблен,
Давай допустим.

Легко рукою меня задень,
Коснись беспечно.
Давай допустим, что этот день
Продлится вечно.
Пусть завтра скажут наверняка,
Что обманулась.
Давай допустим, что в наш закат
Весна вернулась.

Судьба нежданно, вдруг став добрей,
Нам даст поблажку.
Давай допустим, что в октябре
Цветут ромашки.

Давай забудем, что листья клен
Бросает в двери.
Давай допустим, что ты влюблен...
А я поверю.

Дождем промозглым встречу напророчив

Дождем промозглым встречу напророчив,
В передней плащ из листьев мокрых сбросив,
Вошла в мой сонный дом из мрака ночи
Холеная изнеженная осень.

Тряхнула непокорной рыжей гривой,
Горячим поцелуем в губы впилась,
В глаза взглянула девочкой игривой
И рядышком на кресле примостилась.

Поджав чуть-чуть озябшие колени
Виденьем, что вот-вот сейчас растает,
Смотрела, как слова в стихотворенья
Под музыку негромкую вплетаю...

Но вскоре ей покой ночи наскучит...
Меня поманит в спальню без стеснения,
И, сбросив платье, таинству обучит
Чарующей науки соблазнения.

Уйдет под утро, чай допив из блюдца,
Исчезнув вдалеке туманной дымкой,
Оставив обещание вернуться
И пару желтых листьев на простынке.

Свечи чадили на старом столе

Свечи чадили на старом столе,
Гасли.
Вас ли искала я тысячи лет?
Вас ли?
Я перед Вами смиренно склонюсь,
Низко.
Гложут сомненья. Предать бы огню...
Близко –
Ваши глаза. Заглянуть – и с ума,
Смело.
Скоро напишет на окнах зима
Мелом
То, что сегодня покрыто во мгле
Пылью.
Милый, Вы снились мне тысячи лет!
Вы ли?..
Вы ли ваяли меня по ночам?
Сердцем.
Мне бы, любимый мой, в Ваших лучах
Греться.

Мне бы в руках Ваших глиною стать,
Тая.
Только ответьте... Я, правда, ведь та?
Та я?

Вдох – Выдох

Вдох. Еле слышный. Почти нереальный,
Как нереальны прозрачные тени.
Выдох. Меняется ближний на дальний.
Тайна предстанет ажурным сплетеньем.
Прикосновение. Луч – в колесо. Мы –
Две раскаленных, магнитных частицы.
Тронь поцелуем, почти невесомым,
Нежную плоть. Я хочу раствориться
В теплом, парном, безраздельном желанье.
Вдох. Я рукой заскольжу по коленке
Выше и выше. Запрет на закланье.
Выдох. Быстрее пульсирует в венках
Неутоленность. Бросаемся в омут
Страсти, как две разноцветные рыбки.
Каждая черточка сердцу знакома.
Стон мой утробный, просящий и хлипкий,
Тает в ночи, растворяется дымкой.
Вдох. Я бегу. Я ищу. Задыхаюсь.
Выдох. Быстрей! Миллион за поимку!
Вдох. Или выдох? За простынь цепляюсь...
Стоны... Еще... У границы астральной
Время вплетает в узор хромосомы...
Вдох. Еле слышный. Почти нереальный...
Выдох... Скулящий... Почти невесомый...

Под пьянящие звуки гитары

Декабрин

Под пьянящие звуки гитары
Чистым голосом сердце порань.
То ль погибель моя, то ль подарок,
То ли просто красивая дрянь.

Научилась заламывать руки,
Соблазнительно грудь ходуном.
Отчего же бесчувственной суке
Совершенное тело дано?

Для того ли, чтоб горьким безвольем
Напоить мужиков допьяна?
Чтобы души чужие мусолить
У открытого настезь окна?

В глубине притаилась волчица.
Померещилась жуткая пасть.
Мне бы в волосы эти вцепиться,
Мне б к губам этим нежным припасть.

Разорвать паутинное платье,
Опалить безрассудством огня,
И до дури слепой целовать бы,
Прижимая ее к простыням.

Легким ветром задует огарок
Облаченная в нежности рань.

Под пьянящие звуки гитары
Ранит сердце красивая дрянь.

Я переболела Вами, сударь!

После изнурительной простуды
Узкое лицо блее мела.
Я переболела Вами, сударь!
Сударь, Вами я переболела!

Стоя на краю пустой могилы,
Выдохну в лицо Вам: уцелела!
Я переболела Вами, милый!
Милый, Вами я переболела!

Кто Вас обманул, что страшно падать
В пропасть? Я над пропастью взлетела!
Я переболела Вами! Правда!
Правда! Вами я переболела!

В черные, расплавленные недра
Впрыснула вакцину от недуга.
Я переболела Вами, недруг,
Бывший мне когда-то верным другом!

Я ждала спасения, как чуда,
И ждала, как видно, не напрасно!
Я переболела Вами, сударь!
Для меня Вы больше не опасны!

Я пью любовь отъявленной пропойцей

Я пью любовь отъявленной пропойцей,
Теряю шаткий стыд в чужих постелях.
Мужчины дарят мне сердца и кольца,
А утро обрекает на похмелье.

Изрезано лицо багровой сеткой.
Как много грязи в лопнувших сосудах!
В глаза мне говорят, что я кокетка,
И тут же, за глаза, что я паскуда.

Враги меня хоронят. Рано! Рано!
Не верьте, что не вылезти из пьянок!
Россия знала многих хулиганов,
Теперь настало время хулиганок.

Я пью любовь, разбавленную страстью.
Гуляка, разорвавшая оковы.
Вы всё? Ну, слава Богу! Слезьте! Слезьте!
Я Вас совсем не помню! Кто Вы? Кто Вы?

Ну, что же Вы? На столик бросьте кольца,
А сердце лучше рядышком, на блюде.

Я пью любовь отъявленной пропойцей
И так хочу заснуть и не проснуться.

Представь меня бегущей по волнам

Представь меня бегущей по волнам,
Где солнце так искристо и паляще,
Где ветер в парусиновых штанах
Кораблики игрушечные тащит.

Представь меня, бегущую, в шелках,
Где чувства вырываются из плена,
Где с глупым безрассудством мотылька
Стремится к берегам морская пена.

Где чайки, заходящие в пике,
Закружатся в изящных пируэтах.
Где маленькой русалкой вдалеке
Купается веснушчатое лето.

Представь меня бегущей по волнам,
Где истина смывает напускное,
Где я в тебя безумно влюблена,
И обратись в бегущего за мною.

Больная на голову

Ты мне скажешь: больная на голову.
Я не спорю. За тридцать с косичкою
Стала сталь неприкаемым оловом,
Да и в память такого напичкано,
Что мне впору над прошлым куражиться,
Да особо смеяться не хочется:
Мне не раз оно в будущем скажется
И само надо мной обхохочется.

Ты мне скажешь, что я непутёвая.
Я не спорю. К чему пререкания?
Я к тебе привыкаю по-новому
И к разлуке готовлюсь заранее.
Я уже подыскала гостиницу
Для любви в закоулках сознания,
Но она выселенью противится,
Бормоча со слезами признание.

Ты мне скажешь привычно обидное.
Я не спорю. К обидам приучена.
Шепчет разум на ухо ехидное,
И ему отвечаю измученно,
Что мой стержень с годами стал оловом,
Что беда караулит разведчицей,
Что по слухам больна я на голову
И обычно такое не лечится.

Волчонок

С феей лесной обручённый,
Вольному ветру родня.
Кто ты, мой дикий волчонок,
Очаровавший меня?

В серых глазах с поволокой
Неукротимость сквозит.
На расстоянье – жестокий
И беззащитный вблизи.

Чуть задрожали ресницы;
Вижу сомненье в глазах:
То ли мне в руку вцепиться,
То ли ее облизать.

Кто ты, подарок случайный
В дебрях размеренных дней,
Разбередивший нечаянно
Неугомонность во мне?

Может быть, в эти минуты
Учишься мне доверять?
Знаешь, а мне почему-то
Страшно тебя потерять...

ФОТОСНИМОК

Скупые строки на лист тетрадный ложатся рвано.
В углу, на полке, стал фотоснимок флуоресцентным.
Рука коснулась холодных клавиш фортепиано
И заскользила от центра к краю, от края к центру.

Мерцают свечи. Белёсым воском заплыл подсвечник.
Листок тетрадный в словах корявых, в полосках узких.
По фотоснимку пугливым взглядом скользну поспешно
И тут же спрячусь в свою ракушку большим моллюском.

Перевернуть бы, а лучше просто – порвать, да в урну.
Но как же страшно об этом думать! Ласкают пальцы
Поверхность клавиш. Порхают ноты в ночи ноктюрном,
И мотыльками мои надежды к огню стремятся.

Глоताю слезы. Пытаюсь крикнуть... Сорвусь фальцетом.
Теряюсь в прошлом. Застрянет имя в сухой гортани.
Ушел к другой ты. Стал фотоснимок флуоресцентным,
И с каждым разом меня сильнее пленит и ранит.

Наступит время – песок забвенья покроет раны...
Устанут пальцы, касаясь клавиш все осторожней...

Скупые строки на лист тетрадный ложатся рвано
Пустым желаньем о невозвратном, о невозможном.

Денис БАШКИРОВ



Родился в 1975 году в г.Кишиневе. Зоолог, специалист по особо опасным животным. Занимался изучением и разведением персидских леопардов и редкими видами крупных хищных птиц. В последние годы работал в области биохимии в Институте генетики АН РМ. Публиковался в газетах «Днестр», «Коммунист», «Коммерсант» и в других периодических изданиях. В настоящее время живет и работает в г.Санкт-Петербурге. Публикуется под литературным псевдонимом – Гордиевский.

Свеча

Во тьме ночной горит свеча,
Свеча любви, свеча разлуки.
Как часто тяготеют руки
Закрывать огонь – так горяча
Её божественная сила.
Не меркнет свет, горит, пока
Жива печаль, светла тоска,
И ждут глаза – что сердцу мило.
Её огонь в осенней мгле
Живет бессонными ночами,
Приблизь ладонь – она в огне,
И пальцы кажутся лучами.
И пальцы, чувствуя тепло,
Прядут нить жизни не напрасно –
Скользит во тьме веретено,
Виток – свеча судьбы погасла.
Виток – и вспыхнет пламя вновь
Нежданным символом творенья.
И сердце, чувствуя любовь,
Полно огня и вдохновенья.

Утро надежды

Над садами, цветами, туманами –
Утро весеннее, пьяное!

Утро плывет недоверчиво:
Девочка, девушка, женщина?

Под покосившимся мостиком
Тает туман серым хвостиком.

И обветшала лестница
Мхом обрастает, невестится.

Милое, светлое, пьяное,
Утро надежды туманное.

Перепиши меня заново

Перепиши меня начисто,
Нарисуй меня заново.
Раскрась в цвета прежние,
Имя придумай новое...
Склей забытым тревог трещины,
На руке переправь мне линии.
Заштрихуй полоску упрямую,
Складки рта омертвевшего.
Расскажи про дорогу дальнюю,
Про звезду в степи лучезарную,
И о чем колосья шепчутся,
Мне напой – луной, в тихой заводи.
И тогда...
... мои сны станут явными,
Мои отзвуки легкими, плавными.
Я вздохну и проснусь
В твоём городе...
В твоём зыбком и тающем городе,
В твоём зыбком и тающем...
В твоём...

Ветер танцует...

Ветер танцует,
Ветер играет:

Листьями, ветками, брызгами осени...

Ветер волнуется,
Ветер в смятении,

Он будто ищет Вчерашнее в Завтрашнем...

Ветер тоскует,
Ветер скучает,

Вдруг он затих, и настало... Безмолвие.

Ветер вернулся,
Ветер заплакал,

Он целовал руки матери-Осени...

В Вечном Сиянии...

Где-то в долине ветра
Спят пожелтевшие листья...

Утро приходит котенком
К ветру в раскрытые руки.

Звонкую песнь заводит
В сиянии вечной прохлады

Тонкий глас серебристый,
Неведомый, непонятный...

Где-то в долине ветра,
В хладном покое дали,

Кто-то мелькнет в тумане
В светлых одеждах Лета.

И так легко поманит,
Дождем по лицу погладит...

На ушко шепнет о чем-то,
Неведомом, непонятном...

Где-то в долине ветра,
В сиянии вечной прохлады,

Останутся мысли, чувства –
О бесконечной дали.

О чем-то – невероятном,
О прошлом, в туман ушедшем,

Останутся и... растворятся,
Последние, в Вечном Сиянии....

Другое время

И будет другое время,
И все опять повторится...
*Хоть время – ударит в темя,
Поверженной ниц столицы.*

И будут другие песни
Под Богом забытым кровом...
*И песни споем мы – вместе,
По черным идя коридорам.*

И будут стволы кружиться
В синих глазах поэта...
И пуля – лететь колесницей
По скользкой дорожке света...

И где-то... узрим воочию
Сверкающий лик иконы...
Нас тихо оплачут ночью,
Быть может, чужие жены.

И может, другие дети
Споют наши песни – вместе...
А мы – заплутаем в Лете
С другой стороны созвездий...

Но будет другое время...

Дождь, ночь, рассвет...

*По тротуарам, по рельсам и шпалам,
По скверам, по паркам, по старым вокзалам,*

Дождь...

*Что-то рисует, шепчет, тоскует,
Над желтыми листьями важно колдует,*

Ночь...

*Вдруг опустилась над городом сонным,
Сияют, не меркнут огнем жизнотворным
Ее голубые глаза...*

*А ветер рассвета в долгих поисках лета
Раздул облаков паруса.*

Весна. Бессонница...

Весна. Бессонница. Напрасно
Мы смотрим в небо ежечасно.
Весна. Дожди. И в воскресенье
Мы тщетно ждали утешенье.
И только двое, ниоткуда,
Бредут в дожде и ищут чуда.
Весна. Трава. Как мы устали
Вести торговлю с небесами.
Весна. Тревоги. Раскаянья,
И сердце мерит расстоянье –
Весны. Бессонницы. Тревоги.
И только двое на дороге,
И только двое. Ниоткуда.
Бредут в дожде и ищут чуда.

Музыка о самом главном...

Это наш вальс, моя милая, тайная,
Грустно звучит эта музыка плавная.
Музыка тихая, ноты печальные
Дарят нам что-то – то, самое главное.

Дарят нам свежесть приливов блистающих,
Весен прожитых в мечтах и в беспечности.
Юного сердца полет в Бесконечности –
Вижу мерцанье я в отзвуке тающем.

Это наш вальс, моя светлая, добрая,
Это любви моей образ, признание...
Если б ты знала, как ждал тебя долго я,
Тщетно скитаясь в мирах без названия.

В музыку вплеп я дыхание строчек
Из трепетной вьюги сонета старинного,
Стройной рябины рубиновый росчерк,
В страстном послании ветра дождливого.

В музыку вшил я нити Безмолвия,
Ставшими мне на вопросы – ответами.
Я рисовал эти ноты рассветами
В хладных краях, у Зимы изголовья.

Это наш вальс, моя милая, светлая,
Грустно звучит эта музыка плавная.
Музыка тихая, ноты печальные
Дарят нам что-то – то, самое главное.

Это наш вальс, моя милая, светлая,
Это наш вальс, моя чистая, добрая,
Это наш вальс.....

Пусть пустоцвет цветет

Пусть пустоцвет цветет – хоть толку нет,
На свете только он один и небо,

И в землю он доверчиво и слепо
Кидает горсти лепестков – монет.

Как будто покупает новый день
У Вечности. Но, не скупясь словами,

Певучий жаворонок солнечную трель
Провозгласит весенними устами.

В доме, где жил сверчок...

В доме, где жил сверчок,
Пьет теплый чай Зима,
Нюхает табачок
Из табакерки сна...

В доме, где жил сверчок,
То, что нельзя сказать –
Заперто на крючок,
Спрятано под кровать...

В доме, где жил сверчок,
Тихо, в зеркальной мгле
Света отдаст глоток,
То, что живет во мне...

В доме, где жил сверчок,
Ночью вдруг выпал снег.
И кто-то, на долгий срок,
По снегу свой начал бег...
И кто-то, надеюсь, смог –
Рассыпав табак Зимы,
Запутать в снегу следы
В доме, где жил сверчок.

Старый дом

Брошен дом. Пустые стены,
Жизни прервана черта.

В пустоте свои пределы,
Дождь рисует у окна.

Заневестившись, березы
Окружили старый дом.

Дикий хмель опутал розы
На ушедшем и былом.

Позабывтая дорога
Плачет ветром и росой

Неоконченного слога
И глазами бирюзой.

Танец Шивы

Пусть вам покажется смешным
Мой танец Шивы в переулке.
Под хохот пьяной проститутки
Я из ушей пускаю дым.

И что-то дикое кричу
Стальному небу с облаками.
И вновь движение руками,
И мне вдруг кажется – лечу

Над этой крашеной землей,
Туда, где истово и слепо.
Мой горизонт ломает небо,
Не насыщаясь синевой.

Осень – рыжая сестра

Осень – рыжая сестра,
В юбочке короткой,

Почему твои уста
Снова пахнут водкой?

Потому что я упал
В озорное лето,

Я весны приход искал,
Потерялся где-то...

А зимы приход суров,
Жгучие морозы,

Вновь под крышами домов
Замерзают слезы...

Моя Коломбина

Моя Коломбина живет
В мечтах из сигарного дыма,
И губ ее сладостный мед
Пьет оперный бас из Берлина.

Бас толст и доволен собой,
Носит часы на цепочке
И прячет в карман потайной
Фото жены и двух дочек.

А в розах слились в синий лед
Весенние слезы разлуки.
И ищет, никак не найдет,
Рассвет любви тонкие руки.

По ниточке зыбкой тепла –
Бежит он от зла и устоев.
В бездонную пропасть окна,
В страну старых книжных героев.

А в прядях персидских ковров
Потеряны кольца и броши.
И змеи отравленных слов
Скользят по улыбкам прохожих.

Письмо

Я много лет пишу письмо,
В нем листья – желтые страницы,
Немыми строчками – синицы,
А осень – вечное стило.

Чернила наполняю вновь
Из старой склянки вдохновенья.
Состав их – взлеты и паденья,
Добавки – ненависть, любовь.

И из мечты, из темноты,
Из легкой ауры забвенья
Беру в свои стихотворенья
Осколки прежней доброты.

Надежда ДЁМИНА



Член СП России, член правления Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Автор сборников стихотворений «Бал переменчивый», «Паутинное лето» и «Запятые судьбы». Пишет стихи для детей – издана книга «Засыпают звёзды на моей подушке». Печаталась в газетах «Российский писатель» и «Литературная газета», в журналах: «Простор», «Балтика» и «Поэзия», в альманахах: «Как слово наше отзовётся...», «Фронтальная муза», «Подвиг солдата живёт...», «Академия поэзии», «Братина» и др.

* * *

Ты не запомнил ни одной молитвы
из тех, что я шептала в суете.
И ветер затевал пустые битвы,
когда сияло солнце на щите.

Твой город возвышался за плечами,
ты задыхался в копоти свечей
и над строкой холодными ночами,
не замечая тонких мелочей,

свои слова не доводил до блеска –
немели пальцы в чувственных пластах,
рождались сюрреальные гротески
и оживали птицы на листах.

Тебя судили новыми стихами,
стальным пером царапая песок.
Труды читали критики часами,
звонки их били в сердце и в висок.

Но время шло, подставив свету руки.
Ты знал, что даже Рим не сразу пал.
И если были долгие разлуки,
то у дорог есть тысячи начал.

Устанешь побеждать в житейской битве,
наскучит папка начатых стихов,
ты вспомни о спасительной молитве
и помолись за истину и кров.

* * *

Звенят монеты в облачном кармане,
на сделку с небом и землёй иду.
Я не смогу перенести обмана,
когда слова пылают, как в аду.

Я героиня нового романа.
С меня срывали платья и кресты.
Я женщина – душа моя туманна,
когда на стенах яркие холсты.

На пепле мира выдыхала волю,
срывалась я пружинкой от часов
и на руках вынынчивала с болью
в кочевье сотворённую любовь.

* * *

В столице снег, а у тебя дожди
заполнили фонтан с арабской вязью.
Смириться надо нам с мобильной связью,
и ты меня, пожалуйста, дождись.

Боюсь я пропустить твои звонки,
окутаны слова протяжным эхом...
Прерывистые волны и помехи
напоминают, как мы далеки.

Окно моё закрыто декабрю,
а сердце распахнулось для тревоги.
Нам вяжет время скользкие дороги,
а я слова летящие дарю.

Мы встретимся, когда пройдёт мороз,
он выпустит из рук волшебный посох,
трава засеребрится в легких росах,
и вырастут побеги тонких лоз.

В столице снег, а значит, время вьюг.
Мобильный телефон молчит в кармане,
но сердце, как положено в романе,
из русских зим летит на тёплый юг.

* * *

Сильный город разрознен вокзалами раненых судеб,
бесконечных стремлений, осыпанных звёздной пылью.
Город вечно просоленных ран и мечтаний о чуде
ввысь желает тянуться, зевая с прохладной ленцой.

Не согреться мне в глянцевых буднях огней магазинов,
бесполезно по шахматно-мраморным залам бежать.
По дороге домой я бросаю рекламки в корзину
и журналы пустые, в которых своя благодать.

Я надеюсь на город, он глубже вползает мне в душу,
светом ярким меня ослепляет и манит во тьму
старых улиц, зигзаги выводят к воде и на сушу.
В столкновении лбов – я его доверяюсь уму.

* * *

Я не покинула страны
под шум истоптанных вокзалов,
но память водит тени залов
и нервы в ней обнажены.

Я ожидаю свой состав,
холодный, даже летом жарким,
в нём будет свет и ночью ярким,
и оживает давний страх.

И хочется пройти версту,
чтоб миновать холодный поезд,
легко войти в траву по пояс,
поговорить начистоту

с любимым – нет его руки,
с землёй и самой малой птахой,
коснуться тихих вод рубахой,
чтобы понять – мы далеки...

Душа в руинах и золе
болтается по бездорожьям
и в ожиданье искры Божьей
устало кается во мгле.

* * *

Казалось мне, что всё любви подвластно.
В попытке снова время удержать
у зеркала стою одна напрасно,
выстраиваю слов волшебных рать.
Всё будущее в светлом – не практично,
а тёмного – я не приму сама.
Удары жизни выдержать привычно,
и в юности иссушена слеза.

Мой одинокий взгляд остался светел,
не стала безрассудней и смелей.
Скользит по коже утомлённый ветер,
мужчины провожают до дверей.

Поступок каждый жизненно оправдан,
на стопке книг покоятся века.
Порыв в любви рассудком предугадан,
летающим светом скрывшим облака.

А за спиной щебечут снова птицы,
вскормлённые зерном с моей руки.
Подкрашивает ночь мои ресницы,
и будущее дышит мне в виски.

* * *

Мы не врачи – мы боль живого слова,
Нам открывает истина врата.
О горьком хлебе говорим мы снова,
Приоткрывая сердце и уста.

И падает у пропасти за нами
Миг истины, колосьями шурша.
Сомнений выдох правит голосами,
И каменеет от невзгод душа.

Свобода слова – это только фраза,
Как устья рек в долинах нежилых.
Подвохи ищет наш усталый разум
И поминает мёртвых и живых.

* * *

Я выпускаю мир из тёплых рук.
Пусть катится он под ноги счастливым.
В мятежном сердце слишком много мук,
разбросанных желанием постылым.

Заботы отошли на дальний план,
жуют фрагменты дней, как киноплёнку.
Под ветром разрывается экран,
сюжетом завораживая ломким.

Из лука захотелось пострелять,
почувствовать прекрасной амазонкой
и время повернуть по солнцу вспять,
коня пришпорив, рассмеяться звонко.

Колчан при мне, в руке моей стрела.
Я не застряну в жизненной трясине.
К моей мечте дорога пролегла,
и я скачу по золотой равнине.

Нина ГАНЬШИНА



Родилась в Чите 25 января 1954 г. С 1956 г. жила в Кишиневе. Здесь же училась в средней школе. В школьные годы написала первые стихи и рассказы. Несколько рассказов отправила Юрию Марковичу Нагибину. Он неожиданно ответил: «Может быть, Вы и станете писателем, но вопреки тому, как Вы пишете теперь».

Вышли в свет свыше ста художественных и художественно-публицистических произведений, включая три книги. Публиковалась в различных изданиях, в том числе «Литературной России», «Литературной газете», «Учительской газете». Также опубликовано более ста научных работ (в России, Польше, Болгарии).

Лауреат Всероссийского литературного конкурса короткого рассказа им. В.М. Шукшина «Светлые души» (рассказ «Надувной глобус», 2006 г.). На премию имени Юрия Казакова номинирован рассказ «На пуантах».

Является главным редактором литературно-художественного журнала «Встречи», а также членом редколлегии литературного журнала «Слово Забайкалья». Главный редактор научного журнала «Молодой ученый» и член редколлегии научных журналов Читы и Владивостока.

Визитка редакции: Сегодня мы представляем нашим читателям еще одного автора, чья судьба связана с Молдавией, чьи творческие корни питались и молдавскими водами – это Ахметова Галя Дуфаровна. Публикуется под литературным псевдонимом – Нина Ганьшина. Имя взято в честь её бабушки – Нины Ганьшиной.

Заканчивалось первое десятилетие, как страна отстояла свою свободу в Великой Отечественной войне. Галя, как и многие родившиеся после войны дети, росла болезненным и физически слабым ребенком. Чтобы укрепить здоровье девочки, родители отправили ее к дедушке и бабушке в Молдавию. Здесь она впервые попробовала свои силы в литературе, начав писать стихи и короткую прозу. Я рискну предположить, что именно молдавские мотивы заронили поэтические зерна в сердце будущей писательницы, профессора, доктора наук, но все это в будущем. А сначала был педагогический институт в Чите, аспирантура в Институте русского языка Академии наук СССР, затем докторантура в Литературном институте им. А.М. Горького, заведование кафедрой и многие другие ступени восхождения на писательский пьедестал.

В этом номере журнала на суд читателей мы предлагаем автобиографическую повесть Нины Ганьшиной «Тополя корнями вверх», которая вошла в книгу «У всех стрекоз компьютерные животики». Книга была номинирована на Бунинскую премию 2008 года.

Это любопытная автобиографическая повесть, в которой рассказано о том, что если перед собой ставить цели и своим трудом приближать эти цели, то всегда добьешься любых высот. И мы надеемся – наши читатели оценят повесть по достоинству.

Тополя корнями вверх

«И если мы еще здесь, на земле, то мы должны за них дожить».

А. Ким «Белка»

«Бурлаки на Волге»

Мне было двенадцать лет, когда я написала первое в жизни настоящее сочинение. Нам задали в школе домашнее задание – описать картину И. Репина «Бурлаки на Волге». Я пришла домой, раскрыла учебник на той странице, где несчастные люди тянут огромный корабль, – и что-то со мной произошло. Нет, я не очутилась совершенно банально внутри нарисованной картины, среди обездоленных стариков и нищих молодых парней. Хотя в то же время я ощущала под босыми ногами влажный мелкий песок. И словно плечи мои невыносимо болели от натянутых крепких лямок.

Одновременно с этим я усердно старалась описать картину. И, не умея этого, бегала в другую комнату, к маме, спрашивая ее, как надо писать сочинение. Мама полужела на широкой тахте. Горел рядом с ней тихий торшер. Она читала книгу, но на вопросы мои отвечала внимательно, заинтересованно. Я убежала опять в свою комнату, записывала ее слова и чувствовала, что слышу мысли нарисованных людей. И эти мысли я тоже записывала в тетрадку. Иногда я слышала музыку, смех и разговоры, доносившиеся с парохода. И это я тоже записывала.

От всего этого я ужасно устала, сочинение переписывать не стала и заснула в крошечной комнатке, большое окно которой выходило на красивый ботанический сад с теплицей, фонтаном и веселыми кустами, под которыми распускались необыкновенные цветы. Бурлаков я во сне не видела.

И лишь спустя много лет узнала я от своего отца, что в том школьном сочинении, за которое учительница поставила мне пять с плюсом, и к тому же прочла перед всем классом, так вот в том школьном сочинении я описала не выдуманную или подсмотренную художником картину, а своего собственного далекого предка, своего неведомого мне прапра...деда. Как его звали, этого бурлака с Волги? Никто из моих родственников уже не помнит этого. Пусть же он будет Ахмад. Или Ахмат. Или Ахмет. В любом случае арабский глагол «прославлять» вошел в его нерусское имя, а сам он – высокий, голубоглазый и белокурый татарин, в ком, наверное, текла и славянская кровь, – он первый из моих волжских предков, о котором мне известно. И не он ли разговаривал со мной, двенадцатилетней девочкой середины двадцатого столетия? Не он ли говорил негромко о том, как холодно босыми ногами утопать в сыром песке, как больно врезается в плечо натянутая бечева, как невыразимо огромно неповоротливое судно, которое тянет против течения небольшая артель – бурлаки на Волге?

Я заново всматриваюсь в картину И. Репина. И теперь, в начале новейшего двадцать первого века, – по-прежнему ощущаю жгучую боль от натянувшейся бечевы, потому что понимаю, что Ахмад – вот он, в самом центре картины, строптиво и независимо смотрит вдаль, пытаясь снять с себя лямку. Он не успел прославить свое гордое имя. Я делаю это за него. Я прославляю тебя, Ахмад, предок мой, несмирившийся волжанин, вдохновивший художников и поэтов, устоявший и продолживший свой крепкий род. Из могучих корней вырос неведомый мне Ахмад, из тех корней, что дают сильные и здоровые побеги, каждый из которых хорошо помнит вспоившие их нетленные корни.

* * *

Спустя двадцать пять лет после своего детского сочинения я сидела на широкой тахте и читала книгу в уютном светлом круге старого торшера, а мой двенадцатилет-

ний сын взволнованно прибежал ко мне из другой комнаты с тетрадкой в руках. Он писал домашнее сочинение по картине И. Репина «Бурлаки на Волге». «Как его звали, как?» – показывал он на человека, изображенного в самом центре. Человек этот смотрел вдаль, словно видел что-то светлое и радостное. У него были голубые глаза и светлые волосы. «Это Ахмад», – ответила я сыну, заглянув в его голубые глаза. Я рассказала сыну о наших могучих корнях. Пусть и он унесет с собой в будущее нетленную память.

Лейла

Сочинение по картине я писала в Кишиневе, где провела несколько счастливых детских лет. Год спустя мы уехали опять в Читу, потому что родители закончили учебу в Москве. Они забрали нас с братом от бабушки и дедушки и увезли в Читу – холодную, неудобную, но все же родную. И хотя брат мой родился в Кишиневе, но прожил всю жизнь в Чите. А для меня этот маленький город стал местом рождения.

Мы писали из Читы письма в Кишинев, отправляли бабушке с дедушкой фотографии, рисунки, стихи. Бабушки скоро не стало. И я вспоминаю до сих пор, как она бежала за поездом, когда мы уезжали из Кишинева. Она бежала и повторяла: «Я больше не увижу вас! Не увижу вас!..» И я уже в поезде написала им свое первое письмо, в котором радостно и молодо говорила о будущих встречах, о частых и долгих встречах с ними.

Дедушка в Читу приезжал несколько раз. И я, уже став довольно взрослой, выспрашивала у него о наших родственниках. Я торопливо записывала все, что он говорил. И лишь благодаря этим сохранившимся старым листочкам могу хоть что-то теперь записать для своих детей и внуков.

Дедушка рассказывал однажды о русско-турецкой войне и вдруг раздумчиво проговорил: «А у твоего брата нос с горбинкой. Знаешь, откуда эта горбинка?» Дедушка рассказал мне о русско-турецкой войне и о Лейле – нашей с братом прапра...бабушке. Впрочем, как на самом деле звали нашу турецко-черкесскую бабушку, теперь уже неизвестно. Это я подарила ей молодое и звонкое имя Лейла. Благословляю тебя, юная Лейла, за то, что ты встретила на пути моего деда и потому не прервалась протянутая в двадцать первый век невидимая нить, связующая поколения. Благодаря и тебе, славная Лейла, появилась я на свет.

В русско-турецкой войне принимали участие мои далекие предки. Павел Григорьевич Поволочко отслужил в царской армии двадцать пять лет. Дедушкиной рукой записано: «Павел Григорьевич родом из Бутурлиновки Воронежской обл. Он был взят в царскую армию, где и прослужил 25 лет. Должен был пойти в армию сын зажиточного, но так сделали, что пришлось идти на службу моему дедушке. Как мне рассказывал дедушка, он был у Скобелева. Воевал с турками. Форсировал Дунай. После войны он попал на Кубань, в станицу Лабинскую». Жена Павла Григорьевича погибла, спасая ребенка от разъяренного быка. Бык намертво прижал ее к забору.

Всегда я боялась быков

Было у них четверо детей – Нюра, Алексей, Степан, Мария. У каждого из детей сложились свои судьбы. Степан так и не женился. У Марии родилось семеро детей – Петр (умер после фронта в 1918 году), Нюра, Иван, Михаил (погиб на войне), Мария, Дмитрий, Павел. У дочери Нюры было пятеро детей – Николай, Василий, Нюся, Шура,

Леня. А внук Шуры – умный черноглазый Люсик – приезжал к нам в Кишинев из Нальчика. И мы с ним часто разговаривали о других мирах, о поездках в разные страны, а также о том, что можно было бы купить на сто рублей, если вдруг найдешь нечаянно такие огромные деньги.

Павел Григорьевич жил долго, до ста пяти лет, и умер в 1933 году от голода. Дедушка мой, уже будучи московским студентом, часто приезжал к нему. Так получилось, что и дедушка потом тоже форсировал Дунай во время Великой Отечественной войны.

История каждой страны, история каждой семьи и каждого человека – это странный круг, на котором расставлены заранее рукой судьбы все встречи, все события. И круги эти странным же образом пересекаются друг с другом, отчего события словно повторяются. Но невозможно войти дважды в одну и ту же реку. И лишь кажется, что похожи между собой те или иные истории. Дед и внук форсировали Дунай. Течет во мне их героическая кровь.

Отец моего деда – Алексей Павлович – родился в то время, когда Павел Григорьевич служил свои долгие двадцать пять лет. Так что отца своего он и не видел почти. Погиб он в 1942 году, в Петергофе. Был он простым сапожником. Выдали его фашистам за буханку хлеба.

Вместе с Павлом Григорьевичем воевал с турками у генерала Скобелева будущий его родственник, который потом тоже станет для моего деда дедушкой, – казак Григорий Субботин. С ним ушел на войну и брат его – Игнат Субботин. Их отец, имя которого – увы! затерялось, тоже был казак и тоже воевал с турками, потому что русско-турецкие войны, как известно из истории, велись несколько веков, с XVII по XIX. Царь Александр II отметил подвиг казаков Субботиных. И, наверное, хранится где-нибудь в архивах подписанная царской рукой бумага с водяными знаками, на которой выведены имена и фамилии доблестных моих предков.

И вот этот безвестный казак Субботин (отец Григория и Игната) в одном из боев взял в плен красивую молодую черкешенку. Жила она себе в Турции (черкесы живут в том числе и там, и на Черноморском побережье, и в Центральной Анатолии), говорила по-турецки, а потом оказалась вдруг в России, научилась русскому языку, стала женой бравого казака и родила ему детей.

Это и была Лейла. Ее внучка – Анна Григорьевна Субботина – вышла замуж за Алексея Павловича. В 1906 году у них родился сын Николай – мой будущий дедушка.

Анна Григорьевна и Алексей Павлович смотрят на меня со старой фотографии. Эту фотографию я без разрешения забрала у своего деда, когда была московской аспиранткой. Я забрала ее, потому что уже тогда понимала, что только я сумею написать о нашей семье. Только я сохраню для потомков историю, уже ускользающую, уже уходящую в никуда. И вот я ловлю обрывки воспоминаний, перелистываю сохранившиеся документы и письма – и история оживает, и Лейла – красивая нерусская девушка – смотрит на меня издали блестящими темными глазами и говорит что-то на незнакомом языке. А может быть, Лейла не всегда жила в Турции. Может быть, родилась она в одном из кавказских племен, а уже потом переселилась в Турцию.

...«Смотри, не уплыви в Турцию!» – смеется мой дедушка. Мы сидим с ним и с бабушкой на берегу Черного моря. Я вглядываюсь в противоположный берег и пытаюсь разглядеть там Турцию. Ведь где-то там загадочные реки Тигр и Евфрат, там поэтами воспет пролив Босфор, там странное Мраморное море. Там Османская империя, не успевшая раствориться в исторических веках. И – неужели я слышу и понимаю слова чужого языка? – простые и ясные слова: хасыр, килим, миндер... Завороженно смотрю я на другой берег Черного моря. Скрытой от глаз картой мира струится горячий воздух.

У Анны Григорьевны и Алексея Павловича родилось пятеро детей – Василий, Петр, Николай, Екатерина, Клавдия. Петр еще до войны защитил кандидатскую диссертацию по биологии. Работал он и в Буйнакске. Но жена его с ним не поехала, они разошлись. Во время войны попал он в концлагерь, но остался жив. Я помню его. Он приезжал в Кишинев, был очень неразговорчивым, уставшим и одиноким.

Но как непрочны нити жизни! Не было бы на свете этих пятерых детей (а уж меня – и подавно!), если бы гордая Анна Григорьевна, оставшись без матери, поддалась бы уговорам мачехи. Опять даю слово своему деду: «Под давлением мачехи Анну Григорьевну пытались отдать замуж за казака, но она отказала, собрала свои вещи в узелок и ушла к Алексею Павловичу (моему отцу). Нас, детей, долго не признавали. Не выдержал дедушка Субботин – стал навещать нас и приглашать к себе».

В 1916 году Анна Григорьевна умерла. Шестой ребенок не успел родиться. Не суждено ему было родиться? Или насильно прервалась целая жизненная полоса, осталась пустой, незасеянной...

Но я не верю в нечаянность. Давно и крепко записаны наши судьбы в неведомой книге.

...У меня тоже, мне кажется, чуточку выступает вверх переносица на моем в общем-то широковатом рязанском носу. И мой голубоглазый сын унаследовал турецко-черкесскую отметину нашей прекрасной Лейлы – едва заметную горбинку, которая была усеяна в детстве российскими веснушками.

Когда я окончила четвертый класс, мне подарили за хорошую учебу роман турецкого писателя. Книга была явно не по возрасту, но почему-то прочла я ее вздохом и до сих пор ощущаю обаяние нездешнего воздуха. Только гораздо позднее я поняла, почему роман ДОЛЖЕН был попасть мне в руки и навсегда остаться в памяти. Это моя юная прабабушка Лейла окликала меня из далеких миров, касаясь горячими тонкими пальцами рук моих.

Две прабабушки, или Мыши академика Павлова

Вот так получилось, что у меня было две прабабушки по фамилии Поволочко. Моя родная – Анна Григорьевна, и – вторая – Пелагея Григорьевна, на которой женился после смерти жены Алексей Павлович. У них родилось еще пять детей – Валентин, Василий, Антонина, Зинаида, Лидия. В семье оказалось два Василия. И я теперь не знаю, который из них жил в Москве на Кутузовском проспекте и работал в Министерстве нефтяной и газовой промышленности. Его самого я уже не застала – он умер рано. Но хорошо помню огромную коммунальную квартиру, в которой две большие комнаты принадлежали семье Поволочко. Мы с бабушкой часто приезжали к ним в гости. И потом, когда я училась в Москве, я любила бывать в гостях у тети Оли, жены Василия Алексеевича. Была она уже очень немолодая, прихрамывала, но встречала меня всегда радостно, с улыбкой. В молодости она работала кассиром на Киевском вокзале. Мне кажется, это интересная деталь ее биографии. Именно с Киевского вокзала ездила я в Кишинев, к бабушке и дедушке.

Пелагею Григорьевну я застала. Мы ездили с дедом к ней в гости в Петродворец, где она и жила до самой смерти. И у меня даже сохранилась ее фотография. Прабабушка была уже немолодой и необыкновенно доброй и мягкой. И лишь гораздо позднее узнала я о ее судьбе.

Бабушка Пелагея прожила огромную жизнь. Я уже училась в аспирантуре, когда познакомилась с ней. Учиться ей не пришлось, поэтому читать и писать она не умела. Совсем молодой девушкой работала она у академика И.П. Павлова, кормила его подопытных мышей. Наверное, она любила свое бессловесное хозяйство. Наверное,

разговаривала с питомцами, давая им корм и воду. Может быть, были у мышек даже собственные имена – разные там Пеструшки, Толстушки, Резвушки... А когда мыши исчезали, молодая кормилица горько плакала. И ей долго чудилось, как тычутся в руки теплые зверьки, обреченные на смерть ради развития науки.

Молодость ее и сострадательность привлекали, конечно, внимание молодых людей. Почему же она выбрала взрослого мужчину с пятью детьми и согласилась стать его женой? Старшим детям было по пятнадцать-шестнадцать лет, они оказались ненамного моложе мачехи. И бедная девушка вновь проливала слезы, но теперь от обиды и боли. Боль моральную и физическую доставляли ей приемные дети. И тем не менее первенца своего назвала она тоже Василием, – именно так звали пятнадцатилетнего пасынка, от которого страдала она больше всего. И уже гораздо позже, став почти взрослыми, приемные дети стали называть Пелагею Григорьевну мамой.

Настоящее горе выпало на долю Пелагеи Григорьевны во время войны. Ушли воевать родные и приемные дети. Фашисты расстреляли мужа. Младшая дочь Зина погибла совсем юной в партизанском отряде под Ленинградом. В партизаны ушла и Пелагея Григорьевна со старшей дочкой Антониной. А потом ее с дочерью Лидой угнали в немецкий плен.

Не помню, откуда у меня на руках оказалась справка, выданная моей прабабушке в 1945 году РК ВКП (б), а также две характеристики – на дочь Зину и на саму Пелагею Григорьевну. Цитирую дословно переписанный мною с оригинала документ. У меня помечено, что текстов было два: рукописный и печатный.

Справка

Дана настоящая РК ВКП (б)

г-ке Поволочко Пелагее Григорьевне в том, что ее дочь – Поволочко Зинаида Алексеевна находилась в партизанах в составе 12-й Приморской Партизанской Бригады с ноября 1943 г. по январь 1944 г. Погибла в борьбе с немецкими захватчиками в январе 1944 г., что и удостоверяется.

Всесоюзная ком. партия (большевиков).

Волосовский Районный комитет Ленинградской области.

23 апреля 1945 г.

с. Волосово Октябр. ж.д.

И дальше – сразу же текст характеристики:

Характеристика

Дана настоящая Поволочко Пелагее в том, что ее дочь Поволочко Зинаида Алексеевна, находясь в партизанском отряде с ноября 1943 г. по январь 1944 г., после тяжелой болезни умерла.

Тов. Поволочко была дисциплинированна и все приказы и задания командования выполняла, была преданной патриоткой нашей родины.

Секретарь РК ВКП (б)

Быв. командир 12-й П.П.Б. (Ингинян).

Наверное, можно было бы сказать: вот и все, что осталось от человека – две пожелтевшие бумажки. Но моя двоюродная бабушка, оставшись навсегда девочкой, не зря пришла на Землю. И, может быть, со стороны покажется нелепой и ненужной ее смерть. Ведь она, только что вымыв волосы, получила срочное задание и помчалась по январскому морозу его выполнять, после чего заболела жестоким менингитом и скончалась. Но я уверена, что ее жизнь нужна была для спасения других людей. И так, образуя незримую цепочку, гибель моей бабушки оказалась тем звеном, которое не

порвалось в жизни поколений. И вот я живу теперь на Земле, читаю старые документы и пишу летопись нашей огромной семьи. Той семьи, что составляет среди множества колен крошечный, но тоже очень важный виток.

Я была на Пискаревском кладбище, я поклонилась своей бесстрашной, своей мужественной юной бабушке. Ни один из моих предков не был предателем и подлецом. Я горжусь ими, я несусь в себе частицы их горячей крови.

Второй сохранившийся документ, тоже переписанный мною с заверенной печатью рукописи, – это характеристика моей прабабушки Пелагеи. Приведу и его:

Характеристика

Гражданки Поволочко Пелагеи Григорьевны.

Мы, нижеподписавшиеся граждане дер. Сумска и М. Александровки совхоза Шадырицы Волосовского р-на Ленинградской обл., хорошо знаем проживающую с нами с 1942 г. гр-ку Поволочко Пелагею Григорьевну с ея семейством, тремя дочерьми: Антониной, Лидией и Зиной, о чем можем дать свои личные показания.

Гр-ка Поволочко Пелагея с вышеуказанной семьей с момента оккупации Ленинградской обл., в частности, Петергофа, с сентября месяца 1941 г. были завезены немцами в дер. Сумск, как беженцы, где проживали тяжелые дни в голоде, недостатках и холоде, добывая себе кусок хлеба, променивая последнюю с себя одежду. В 1942 г. еле живые от голода были приняты на работу в немецкое имение Шадырицы, где и работали днями и ночами за полученный кусок хлеба для существования в размере 300 гр. В 1943 году к подготовке немцами эвакуации в Эстонию и Латвию дочери Поволочко Пелагеи Антонина и Зина вместо того, чтобы готовиться отступить с немцами, ушли в лес и работали в партизанском отряде, возглавленном тов. Ингиняном, ныне секретарем Райкома партии ВКП (б) в Волосове.

В период пребывания в партизанском отряде одна из дочерей ее Зина умерла, а сама Поволочко Пелагея и дочь Лида за связь с партизанами и оказание им помощи немецкими жандармами была забрана и посажена в тюрьму в Волосове, и производили тяжелые пытки, допрашивая, где ее дочери, где партизанят и где управляющий, который подготовил диверсионный акт по захвату и убийству немецкого офицера Швиельмана.

После всех тяжелых пыток упорно отрицающую связь с партизанами Поволочко Пелагею с дочерью Лидией увезли в тыл Эстонии-Латвии. С момента освобождения Латвии доблестной Красной Армией как патриотки Советской Родины вырвались из рук немецких палачей и вернулись в настоящее время в наши деревни.

Вот все, что мы можем сказать про жизнь Поволочко Пелагеи, о чем и даем свои собственноручные подписи.

Совхоз Шадырицы.

Предс. с/с Шеребцов.

Пред. к.х. Мал. Александровка Гусаров.

Саволашнен Елена Михайловна.

Подписи рук. заверяет Курский с/совет.

Предс. с/с.

Что я могу добавить к этим документам? Только поклониться моей прабабушке, прожившей достойную жизнь. Поклониться и всем остальным ушедшим. Если бы не они, – никогда бы не увидела я солнце и Землю нашу.

Нитки с фронта

Дедушка мой – Николай Алексеевич Поволочко – родился в станице Лабинской (ныне город Лабинск) Краснодарского края. В самом центре, на улице Тургеневской, стоял их кирпичный дом. Стоит ли он и сейчас? И кто в нем живет? Знаю, что Мария – одна из внучек Павла Григорьевича Поволочко – жила в Лабинске.

О детстве своего деда знаю немного. Он учился в церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, где был запевалой. Свой великолепный голос (густой бас) он сохранил до самого конца.

Уехал в Москву учиться в Тимирязевской академии и работал почти всю жизнь по специальности, полученной в Москве. Там же, в Тимирязевской академии, познакомился с моей будущей бабушкой – Ниной Ивановной Ганьшиной. Несколько лет были отобраны войной. Он ушел на фронт в сентябре 1941 года, воевал до самого конца, даже и ранен серьезно ни разу не был. Как ему удалось остаться живым? После каждого боя погибали его друзья, чуть не заново обновлялся состав бойцов. Оставшиеся в живых в следующий бой старались попасть поближе к моему деду, чтобы тоже не погибнуть, чтобы дойти с ним до Победы.

Дедушка мой знал, что идет к Победе, он неведомым образом знал о ней, потому что всю войну пронес он с собой маленький вышитый платочек, где цветными нитками написано было: «Вернись с Победой 9 мая». А затем – имена троих детей: Анна, Мария, Николай. Платочек этот вышила и дала ему в путь моя бабушка. И вот я думаю, что именно эта неземная вера в Победу помогла остаться живым моему деду. Он прошел через всю войну, через разные страны, – и в мае каждого фронтового года доставал вышитый платочек и рассматривал фотографию жены и детей. А потом заворачивал фотографию в платочек и – опять на войну.

Я помню, как любила разглядывать цветные открытки, посланные дедом из далеких освобожденных стран. Обратные адреса были причудливыми, словно списанные с географической карты: Румыния, Болгария, Югославия (г. Белград), Венгрия, Австрия (г. Вена), Чехословакия (г. Брно), Монголия, Китай. И до сих пор хранится у меня засушенный подснежник с Карпатских гор – фронтовая реликвия. Медали за каждый освобожденный город – это итоги войны. Он не был в Берлине. Он продолжал воевать и после Победы, пока не освободил от фашистов все захваченные земли. Самой страшной, самой памятной была битва под Сталинградом. Еще и потому запомнилась она, что совсем недалеко, в маленьком селе Успенка, остались ждать мужа и отца жена и трое детей.

В составе 333-й дивизии в 1942 году дед попал в окружение. В результате жестокого боя мой дед – политрук заградроты, исполняющей приказ Сталина 227, – вывел свою роту. Они влились в 304-ю стрелковую дивизию, которая входила в состав Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского.

Дед много писал и рассказывал о Сталинградской битве. К счастью, у меня сохранился рукописный вариант его воспоминаний от 17 февраля 1957 года, где описан лишь один из страшных эпизодов: «Наши войска с боями шли в направлении Сталинграда. 7 декабря нашей роте дано было задание под прикрытием наших танков в соединении с другими частями разгромить врага в направлении госпллодопитомника, находящегося около Сталинграда. На рассвете пошли наши танки. Поднялась пехота. Взрывы мин, орудийных снарядов, разрывая на клочья землю, высоко поднимали ее над головами пехоты. Пулеметный и автоматный огонь противника мешал продвигаться им вперед. Командный состав роты постепенно выходил из строя. Наступили решающие минуты, нужно было броском сбить гитлеровцев. Из офицеров роты остался я один. Подняв роту, мы пошли вперед. Шли на штыковой бой. Сделав несколько пробе-

жек, я упал. Хотел подняться, но не мог. Почувствовал теплоту в ногах от собственной крови. Приказываю поднимать роту своему парторгу т. Игнатенко. Но тов. Игнатенко, пробежав шагов 5, упал, вздрагивая всем телом. Пуля, попав в его грудь, вышла в спинной части. В этот решающий момент рядовой солдат Быстров выпрямился во весь рост, сжав винтовку в руках, крикнул: «Рота, слушай меня! Вперед за Родину!» Рота поднялась, крики «ура» тонули в грохоте разрывов мин. Засверкали штыки. Врага смяли. Я и Игнатенко с трудом ползли в тыл. Мы обессилели. Лежа стал перевязывать рану у Игнатенко, но... в это время на нас быстро двигался танк. Вот уже оставалось 50-25-15-5 метров от нас. Мы, обнявшись, прижались к земле среди убитых. В эти секунды у меня, как на киноплёнке, пробежала вся жизнь, семья, дети... Я ждал смерть. Танк был над нами, однако, к нашему счастью, мы попали не под гусеницы, а под дно танка. Мы остались живы. Пот выступил, хотя был морозный день. Вскоре нас подобрали санитары. Игнатенко сошел с ума. Я отделался только поседением головы. Был доставлен в госпиталь, но 23/II 43 г. я вновь был направлен защищать советский народ, свою Родину от гитлеровских банд».

В 1982 году в Кишиневе вышла книга «В боях за Молдавию», одним из авторов которой был и мой дедушка. Под его фамилией написано: «Заместитель командира батальона 439-го стрелкового полка по политчасти». «Каждый бой остался своеобразной зарубкой на памяти, – пишет дед. – Таких зарубок было предостаточно. ... Когда мы осмотрели поле боя, то насчитали более сотни трупов вражеских солдат и офицеров, а в подбитой машине обнаружили убитого генерала с ценными документами. Батальон взял в плен более пятидесяти человек, захватил многочисленные трофеи. Тем же солдатам и офицерам врага, которым все же пришлось встретиться с другими нашими подразделениями, и до Прута они не дошли. Приказ командования, таким образом, был успешно выполнен: враг не прорвался».

Я запомнила дедушку своего с белоснежной головой. Он был очень веселый, весь какой-то громкий, даже озорной, словно не стояла за его спиной война. Его майорские погоны до сих пор хранятся у меня дома, а все остальное – фуражки, бинокль, портупея – разлетелось. Мы играли в детстве в «войну». Не дай Бог, не дай Бог войны настоящей!

...Когда мы уезжали из Кишинева в Читу, дедушка отдал нам широкий и низкий моток белых ниток, который он привез с фронта. Моток этот до сих пор у нас, только теперь он стал узким и высоким. И немного пожелтел.

После всех войн дедушке не удалось сразу заняться мирными садоводческими делами. До 1953 года он оставался кадровым военным и жил в Чите, работая замполитом в военном госпитале. К нему в Читу переехала и семья. Так моя мама оказалась в Забайкалье.

Они жили в доме, где расположился теперь институт сына. Небольшой балкончик их бывшей квартиры выходит на тополиную аллею. У нас дома есть фотография: стоит на балконе молодая веселая девушка в майорском кителе и фуражке. Это Анна – старшая дочь моего дедушки. Молодые тополя в то время были совсем невысокими.

Дедушка и бабушка уехали в Кишинев, не дождавшись моего рождения. Дедушку демобилизовали, наконец (бабушка даже писала Сталину, чтобы дедушку скорее отпустили из армии), и они уехали. А я родилась вскоре в том самом госпитале, где работал замполитом дедушка. И разве можно считать простыми совпадениями все то, что происходит в жизни человека, семьи, всего человечества? Нет, кто-то разумно и мудро распределил наши роли, встречи, события. Кто-то расставил по своим местам города, явления и людей. Кто-то зорко и чутко следит за своими творениями.

(Продолжение следует)

Елена ЗАМУРА

ЧИТАЮЩИЕ ТЮТЧЕВА ВПЕРВЫЕ...

На форуме одного из сайтов, где размещены стихи о любви российских поэтов-классиков, я прочла самые трогательные в мире отзывы. Вот, например, реакция одного из читателей на стихотворение Тютчева: «Федор! Респект! А девушку эту ты бросил?».

Можно пожалеть подростков, которые в школе прошли мимо поэтической классики. А можно позавидовать тому, что они открыли ее для себя самостоятельно, без комментариев учителей. Ведь взрослые с унылой педагогической методичкой в головах – главная причина того, что в детстве кое-кто из нас не увидел красоты, заключенной в поэтических и литературных строках. Разве может любить Толстого человек, которого в школе из-под палки заставляли учить наизусть строки про дуб Андрея Болконского?

Многое в жизни взрослого человека еще произойдет. Но никогда он не познает величайшего эстетического наслаждения открыть для себя гения. Никогда он не прочтет Тютчева впервые, никогда не задастся вопросом: а бросил ли Федор эту девушку?

Посетители молодежного информационно-развлекательного Интернет-ресурса *Vaza.md*, как выяснилось, – те самые подростки, которые открывают для себя мир поэзии. И даже сами ее создают. Литературный конкурс «Ваши стихи на *Vaza.md*» посетило в общей сложности 4300 человек – цифра, сопоставимая с тиражом хорошего поэтического

сборника. Редакция сайта по-хорошему удивлена огромным вниманием, которое обеспечил конкурс творчеству молодых поэтов. Мы заразились энергетикой этих стихов! Наверное, трепет в своих душах испытали и тысячи посетителей, которые прочитали их вместе с нами.

Очень много в стихотворениях участников конкурса серьезных размышлений о себе, о жизни. Трудно было выбрать лучшие строки. И все же мы это сделали.

Среди победителей конкурса – Smoke, диджей кагульского ночного клуба, набравший (показатель общего признания!) более трехсот голосов посетителей. И это неудивительно: Smoke – неформальный лидер в Кагуле, его стихи знает и любит продвинутая молодежь.

Второе и третье места разделили девушки. Это – королева красоты, победительница конкурса «Буджакская красавица», автор акrostихов Евгения Ергогло. А также – начинающая поэтесса, лицеистка из Кишинева Ольга Цуркан, победительница многих республиканских олимпиад по русскому языку и литературе.

Лидеры конкурса получили право опубликовать свои стихи на страницах журнала «Наше поколение». Такой приз учредил его редактор, писатель Георгий Каюров, за что мы ему благодарны!

Желаем журналу всеобщего признания, долголетия и новых талантливых имен!

SMOKE



Диджей кагульского ночного клуба.
Победитель литературного конкурса «Ваши стихи на baza.md».

* * *

ЛЮБОВЬ –

Не думаю ни о чем, лишь мысли о тебе вновь.

Я помню тот момент, как, ЦРУ агент,

Смотрел я на тебя,

Глаза не отрывая.

Появилось желание

Сделать признание,

Подойти хотел, но не сумел,

Не смог – я не чувствовал своих ног

И лишь смотрел я, любовался,

Сердцем хотел, мыслями напрягался.

Мы танцевали близко, я находился в зоне риска,

Но, видимо, было дано, чтоб, несмотря ни на что,

Нам вместе было хорошо...

И было знакомство, был разговор...

Утонул я в любви, как в море топор,

ЛЮБОВЬ...

Необъяснимо.., но знаю точно – НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ МИМО!

* * *

Знаешь ли ты, куда летят мечты?

Все мысли твои, словно птицы,

В новый день в глазах твоих новые лица,

Новое счастье бывает несчастьем,

Улыбки и слезы, убийства, рождение –

Все это в жизни очередное пополнение,

Чем же хочешь ты

Пополнить свои дни?

Кому ты даришь свою судьбу?

Знаешь ли ты

Когда уйдешь, когда вернешься?

Уверен ли ты, что не ошибешься?

...Говорят, судьбу не обойдешь?

Предназначено тебе... значит, умрешь...

Говорят, везет, если куш с лото сорвешь,
А у меня на уме мысли не о судьбе,
С которой бороться не по силе,
О ней гласили те, которые жили...
Я не верю в судьбу, Я ЖИЗНЬ ЖИВУ...

* * *

Двигается тело в ритме DJ-я,
Пускай ты устал, ты делаешь дело.
Если ты хочешь сейчас оттянуться,
Мыслями хочешь небес ты коснуться –
Это реально и воплотимо,
Будь на танцполе – мечта выполняй.

Стремись на танцпол ближе к мечте,
Все, что мы делаем, тебе по душе.
Мы все знаем, что нужно тебе,
Лучший настрой у тебя на столе,
Рядом девчонка танцует неплохо,
Сегодня ты можешь стать ее богом,
Помни об этом и двигайся к цели –
DJ вам поможет, чтоб всё вы успели.
Тело хочет, душа ранима,
Будь на танцполе – мечта выполняй!!!

Евгения ЕРГОГЛО



Обожаю писать стихотворения... но больше всего АКРОСТИХИ. Акrostих – это стихотворение, где начальные буквы каждой строки составляют имя, фразу или предложение.

* * *

Слова любви сказать спешу я,
 Едва дыханье затаив,
 Рискну признать, печаль минуя,
 Единственный души мотив.
 Животрепещущие слезы –
 Капель всех чувств в моей судьбе,
 А ароматом нежной розы
 Я утром прикоснусь к тебе.
 Терновник чувств сковал в оковы,
 Елейным видом заманив.
 Болезнь любви терпеть готова
 Я ради нас с тобой двоих.
 Лелею я воспоминания,
 Ютящиеся в памяти моей.
 Блаженство – каждое свидание,
 Любовь! Я преклоняюсь перед ней!
 Юлить не стану и скажу: Сережка, я тебя люблю!

* * *

Явился ты мне сновидением
 Невыразимой красоты,
 Аккордом ласк и восхищения
 Вселился в сердце мое ты.
 Ежеминутные признания –
 Капризы наших страстных душ.
 Искра твоего ко мне внимания –
 Тепло во время зимних стуж.
 Волне любви должна поддаться,
 О, вечная любовь моя,
 Я поспешу тебе признаться:
 Навеки я теперь твоя!

* * *

Ярчайший образ глаз твоих
Живет в сознании моем,
И манят звуки нот родных
В прекрасном голосе твоём.
Украсив жизнь мою, ты стал
Диковинкой унылых дней.
Любимый, ты мне даровал
Янтарь неблекнущих страстей.
Твоя судьба – моя судьба...
Её приемлю всей душой,
Будь ласков, и тебе отдам
Я жизнь свою, и свой покой...

Ольга ЦУРКАН



Родилась 29 июня 1990 года в Кишиневе. Учащаяся 12-го класса лицея им. Н.В.Гоголя. Окончила музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано.

Пробует себя на поприще журналистики. Победы на республиканских олимпиадах по русскому языку дали возможность побывать в Москве и Санкт-Петербурге, дважды – на международных олимпиадах, оба раза – с хорошими результатами.

Санкт-Петербург

1

Я побывала в городе мечты,
Где каждый остров – как крупичка счастья,
Где ночью все разводятся мосты,
Где показалось тёплым мне ненастье.

Я в Питере была, точно во сне –
Ошеломлённая его красою,
Низко кланялась царственной Неве,
Её увидеть было давнею мечтою!

По Невскому проспекту я прошла,
И всё вокруг казалось нереальным,
Изящные мосты и острова
Предстали предо мной прекрасной явью.

Горят на солнце ярко купола,
И ангел Петропавловского храма
Хранит покой. Суровый лик Петра
Глядит на нас так строго и упрямо.

Санкт-Петербург запомню навсегда –
Он в памяти моей неизгладимо,
И тень Александрийского Столпа
Всегда со мной, хотя бы и незримо...

2

Я с высоты десятых этажей
Любуюсь городом: ночной и нелюдимый...
И каждый миг глаза мои темней,
Как он – тоской и сыростью томимый.

И так пустынно стало на душе,
Лишь оттого, что завтра уезжаю,
А здесь мечта. Но мне пора уже.
Всем существом отъезд я отвергаю.

Столица сердца. Дрожь. Протяжный вздох.
Санкт-Петербург меня не отпускает...
Рокочет в сердце восхищенья ток,
А он меня как будто прокликает!..

Я уезжаю. Видно, не судьба...
Но я вернусь! Я верю, верю в это!
И всё иначе сложится тогда.
Я буду счастлива! Когда-то. С кем-то. Где-то...

* * *

Приснилось. Глупо верить. Верь в забвенье.
«Я не надеюсь. Не скучаю. Я не жду» –
Как мантру повторяю в упоении,
Твержу все это в пламенном бреде.

Тебя забыть – совсем не панацея,
Неуправляем чувств моих поток.
Я буду сильной. А сейчас слабею –
Часами изучаю потолок.

Отчаянье я спрячу за улыбкой.
Страх?.. Дерзкий смех тебе в лицо!
Вся искренность моя была ошибкой,
Я замкнутое разорву кольцо...

* * *

В водовороте слякотных дождей
Зимы бесснежной и безрадостной
Чего-нибудь горячего налей
И обжигающего, даже гадостного.

Я грею руки стынущей керамикой
И душу – вмиг остывшим кипятком.
Судьбой играю, будто бы мозаикой,
Любуясь белоснежным потолком.

Я убегая с теми, кто не нужен мне,
От дорогих и близких, от любимых
И возвращаюсь в детство в пьяном сне
В мир радостей далеких и картинных.

Я снега жду, как ждут благословения,
Чтобы засыпал грязные следы,
Запоросил все порохом забвения
Все уголки сердца, где есть ты.

Не бывает

Не бывает так, чтобы, как в мечте:
безоблачно, сиюминутно,
по взмаху ресниц или волшебной палочки;
вспышка – и любовь обоюдно:
сразу вместе,
сразу навсегда.
Не бывает так, чтобы счастье мгновенно и просто так:
его заслужить слезами и временем,
ожидания пленом надо,
тогда глаза твои – как награда.
Шоколадные.
В них тону.
Не бывает без сомнений и ошибок,
без молчания
и несмелых улыбок,
без твоего образа на потолке
поздней ночью, уже в темноте,
когда заснуть не в силах,
когда кровь закипает в жилах,
когда думаю о тебе.

Ничего не бывает, но верю,
наивно жду за закрытой дверью,
где ты до меня
не со мной,
в неё влюбленный,
а мне родной.

* * *

*В блеске зимы и осени – весенние искры.
Твой взгляд не ожогом, но нежностью.
Ты улыбнулся, поэтому счастье близко,
И мы в финале за неизбежностью.*

Через мгновение или годы мы вместе, а значит – счастливы, значит – судьба. Нелепо-важные строки невесте (то есть мне), то есть навсегда. Ну тогда подожду, ну ладно, буду учиться галстук завязывать, пока не умею, но и тебе без надобности, а я умею реальность к мечте привязывать.

Или мечту к реальности, так вернее. Но немного печальнее, зато борьба сильнее и любовь сильнее и ты тем ближе, чем дальше! Ты не убежишь, я не спрячусь – ну, точно, судьба.

А ты изучи в зоопарк дорогу, и детсад подбери по пути на работу, и еще азы верности. Мне не надо ревности, мне не надо боли, мне слез довольно. Я натерпелась в юности, или в детстве, или в вечности... царапала на веках знак бесконечности и твое имя: будет в паспорте – наша фамилия. А я научусь готовить картошку с салом и обезоруживать нежности жалом и с утра не с помятым лицом, значит встать раньше тебя – и льдом по скулам и носу, и забыть про смешные вопросы, если вместе, то любишь, и точка. У нас будет сын, будет дочка. А еще юбилей в ресторане, а в субботу поедем к маме.

А мне не наскучит, не бойся. Перед сном потеплее укройся, и обними мои плечи. Мы вспомним наши первые встречи, твои быстрые взгляды, мои длинные строки, тишину первых дней и немые упрёки, и уснем улыбаясь.

Значит, не зря надеюсь, не зря дожидаюсь и в прятки играю с мечтой.
Твердо знаю – мы будем с тобой.

* * *

Через сомнительного почтальона – сейчас –
В первые зимние ночи
Я посылаю тебе слова о любви.
(Ненароком и между прочим).

Я замкнулась в себе, и я стала взрослей.
Независимей. Сдержанней. Строже.
Позвони и скажи очень тихо: «Люблю...»
Я отвечу тебе: «Я тоже».
Я прочту свою гордость. Сложу пополам
И на ключ запру – в ящик дальний.
Я мечту никому ни за что не отдам,
Пусть она для других – не тайна.

Ты пойми – я не жду обещаний твоих,
Запах грусти врывается в окна.
Мы – свободны. Мы – врозь. Миллионы других
Топчут битой души моей стекла...
Через строки молчаний, абзацев пустых,
Через сотни нелепых заветов
Я услышу твой зов, ты услышишь мой крик
И десятки безмолвных ответов...

Через сомнительного почтальона – в ночи –
Я скажу тебе: «Ты меня любишь».
Ты скучаешь – я жду. Ты молчишь – я мечусь.
Просто ты меня медленно губишь...

Хроника

Зимний вечер, в пять возле памятника, первое свидание, яркая помада на детские совсем губы и страх опоздания. Первая встреча, вдвоем в кафе, и не любовь во все, а просто он взрослей – и все правильно.

Телефонные звонки, встречи, как по сценарию. Мой вздернутый нос, его обещания, но чувствовала, что не тот, знала, что не люблю. Ушла через месяц, уходила – год. Он до сих пор раз в семь месяцев ждет на углу опять, а я не воспринимаю, что это было, назад лет пять.

Помню вокзал и первый раз в Питер, город, который часть души похитил и выветрил детство. Но не за раз, а на четвертый: загранпаспорт был уже довольно потертый и в нем много печатей. Я сейчас понимаю, что каждая из них значит – бессонные ночи, в тамбур покурить, встречи и расставания, надежды, фотографические карточки и просьбы вслед – не забыть.

Помню лето. Лето нескольких лет в одно сливается, теплое море, ночь, искры, улыбки, мечты зажигаются и дотлевают осенью.

Помню – вчера в подземном переходе женщина денег просит. Так интеллигентно, скромно и вежливо, словно стесняясь грязной одежды и роли просящей. И я забыла, что у меня – ровно на хлеб и колбаску к завтраку, и дала. Почти все, что было – раз уж праздник. Немного жалела, когда пустой кофе пила.

Помню, как боюсь ссориться. Кричать не мыслью, а чувством, бегом по лестнице вниз и на улице пусто, горячие слезы по стынувшим щекам, бессмысленно уходить прочь с бессмысленной мыслью «вот вам!»

Я пыталась вспомнить что-то хорошее. Вспоминалась только моя ладонь в твоей ладони.

Только вечер октября, когда все началось, не продолжилось, но не закончилось.
Только несколько кадров на нелепом повторе.

Обломки воспоминаний, но живые, ёмкие, как сейчас перед глазами, на затертой пленке.

А время разделилось на «до» и «после». Отпали сомнения и вопросы, кроме – «где ты и почему не со мной?».

Внутри сигаретный дым и торопливо бежит по венам, оттого лицо серое, оттого колики. Сердца биение перекликается с тишиной и с шуршанием той самой осенней хроники.

* * *

У меня
 В разгар юности – пустыня.
 Память стынет,
 И сердце стынет.
 Бьется ровно, но
 Всё это, условно.
 Чужими вдруг стали
 руки,
 улыбки,
 взгляды
 И поцелуи со скуки.

Ищу причину,
 пытаюсь понять,
 Для чего надо
 под тяжестью счастья
 согнуть спину

И снова,
 Отсчитывать отведенные
 судьбою сроки.
 Посвящать слезы,
 дарить строки.

Исход понятен:
 По сюжету в осень
 или я брошу,
 Или он бросит.
 ...Стану строже,
 И кто-то спросит,
 В чем причина?
 Я отвечу –
 жизнь случилась,
 Сердце рвётся,
 свободы просит.

* * *

Твой образ затерся, потускнел,
 Не забылся.
 Ты обжег взглядом,
 Уничтожил прикосновением,
 Окрылил поцелуем
 И растворился.
 А я все пыталась перешагнуть предел.

Остановился водоворот событий,
 Ночи без сна,
 Дни без бодрствований.
 Твоё молчание,
 Моё упорство...
 Бессмыслица
 Заставляла просить укрытий,

Но и в укрытиях тишины
 Не забылось,
 Не закрыто за давностью,
 Но отложено в дальний ящик
 Дело осеннее –
 Диалог,
 В нем я ответчик, и я – рассказчик.

Могло случиться, но не случилось,
 Мечты скукожились,
 Сдали,
 Не сдюжили.
 Еще вчера надежда теплилась,
 Сегодня не хмурюсь –
 Лицо отутюжили.

Наталья СИНЯВСКАЯ



Родилась и выросла в г. Кемерово, Россия. Закончила Кишиневский государственный университет, факультет журналистики. С 1990 г. работает в прессе и на ТВ. Главный редактор журнала «Молдова Туристикэ».

Арка Победы

Арка Победы, Триумфальная, Святые врата – этот символ Кишинева менял названия, его часы отсчитали времени больше, чем все остальные городские, про арку слагали истории и легенды, а она стоит себе, принимая под своим небольшим сводом влюбленных, которые здесь назначают свидания.

Стерты с лица города другие арки, украшавшие Кишинев, – одна из них была перед Благородным Собранием (на месте кинотеатра «Патрия»), другая служила воротами Бендерской улицы со стороны Александровской (сегодня – Штефана чел Маре). Триумфальная, которой уже почти 170 лет, «выжила».

Построенная в 1840 году по проекту архитектора И. Заушевича, она была посвящена победе русской армии над турками и получила название Триумфальной. Двухъярусная, 13-метровая красавица-арка сразу полюбилась кишиневцам и гостям. И представьте, как молодой приказчик магазина назначал свидание милой девушке из соседнего салона «женского белья из Парижу» под этой аркой, как прикидывал, хватит ли на извозчика, и рассчитывал, что шансы завоевать красотку у него есть. О победе русской армии над турками он не думал. Это для парадов!

Впрочем, часов на Арке сначала не было. Должны были на самый верх водру-

зить 5 колоколов, самый внушительный из которых весил 400 пудов, а самый маленький – 25. Еще в 1812 году царь Николай I, по просьбе бессарабского генерал-губернатора Воронцова, отдал собору (Кафедральный собор) турецкие пушки, в которых было 1500 пудов меди. Решили использовать трофеи для колоколов арки: это было символично – вылить колокола из оружия побежденной армии. Пушки эти находились в Измаиле, в крепости. Оставалось всего ничего – отлить колокола и доставить их в Кишинев.

Вот здесь и случилась заминка. Колокола тогда можно было отлить либо в Киеве, либо в Москве. Но дорог в России просто не было, впрочем, и сегодня кое-где одни направления. Решили привезти мастеров по отливу колоколов прямо в Измаил. Руководил работой Василий Лосенко. Сначала в крепости построили плавильную печь. Потом соорудили формы. А когда работы были закончены, появилась и дорога: то ли специально для доставки колоколов, то ли давно было запланировано, но по распоряжению Воронцова дорога Измаил–Кишинев была отремонтирована.

Другую серьезную проблему пришлось решать уже в Кишиневе. Колокола не помещались в проемы звонницы. Тогда решили достроить второй уровень. В честь этого 3 августа 1839 года

состоялась торжественная церемония. Правда, тогда арка еще была недостроена, а полностью закончили работы только в 1840-м. Победа!

Кому пришла идея вмонтировать в арку часы, история умалчивает. Заказали куранты в Австрии. И сегодня они отбивают время каждые 15 минут. С появлением часов только лучшие мастера Бессарабии удостоивались чести следить за сохранностью механизма и точностью времени. Из городского бюджета выделяли тогда 200 рублей в год на оплату работы часовщика. Это были огромные деньги. Сегодня

механизмы уже другие, и на арке тоже. А за часами уже 35 лет ухаживает мастер Иван Иванович Козлов.

Арка не менялась. После Великой Отечественной город был в руинах, арка устояла. На ее стенах были высечены имена героев самой последней войны, и переименовали этот символ в Арку Победы.

Сегодня ее официально называют «Святыми вратами» – как памятник победы русских над турками. Это имя пока не прижилось. Так и называют символ Кишинева «Арка Победы», «Триумфальная арка». И назначают свидания!